

М у х т а р  
А У Э З О В

ЛИХАЯ ГОДИНА

ПОВЕСТЬ О БУНТЕ СМИРНОГО РОДА АЛБАН

## Оглавление

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Глава первая .....    | 3   |
| Глава вторая .....    | 33  |
| Глава третья .....    | 56  |
| Глава четвертая ..... | 73  |
| Глава пятая .....     | 101 |
| Глава шестая .....    | 127 |
| Глава седьмая .....   | 159 |
| Глава девятая .....   | 194 |
| Глава десятая .....   | 222 |

## Глава первая

Было это летом недоброй памяти 1916 года. Было это в предгорной долине Каркара - материнской колыбели казахского рода албан, рода многолюдного, а стало быть, сильного, богатого землей, скотом и трудовыми руками, но известного своим простецким, бесхитростным нравом.

С весны пролились теплые ливни, напоили живительной влагой лоно Каркары, и вымахали травы - на радость чабану и табунщику. Сказочно хороши летовки албан! Не луга - люльки под зелеными шатрами. Они манят и ласкают глаз, они кормят. Купается в травах пастушье племя, встречает торговых гостей.

Каждое лето в Каркаре ярмарка. Один раз в год, но уж во всю ширь, во весь мах. Место знаменитое. Здесь сходятся и сплетаются в узел девять дорог со всех сторон света. Сюда едут купцы из русских городов - от Волги до Иртыша, едут из Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента и даже из Кашгарии и Кульджи. Едут и везут, едут и увозят.

Уже более месяца, как кипит большое торжище в Каркаре. И будет кипеть еще месяца три. С каждым днем оно все пышней, шумней и тесней. Кажется, полна долина до краев, а товары текут и текут сюда днем и ночью, подобно буйным весенним потокам с гор.

Тысячные гурты овец, стада коров, табуны лошадей ржут, мычат, блеют, топчут и потравливая албанские летовки. Каркара изнывает, стонет под тысячами и тысячами копыт. А скот гонят и гонят: киргизы - со снежных гор, казахи - с предгорий, и он уходит в кипящий ярмарочный котел, как в прорву.

По виду торжище в Каркаре - беспечный, разгульный праздник в летнюю пору изобилия, а по сути - дневной грабеж, пожива купцу на целый год, нетрудная пожива.

Волк в степи становится против ветра, ловя запахи стада. Издалека схватывает слабое дыхание живого тела с теплой кровью, словно паутинную нить; бежит, крадется, не обрывая ее, пока не увидит глазом то, что учуял носом. Так и купец.

Волчий у него нюх и волчья повадка. За сотни и сотни верст поднял да взял купец след человеческого стада албан. И не обманулся: лакомый, жирный кус, люди что овцы.

Кишмя кишат купцы на ярмарке. При свете дня походит здешнее торжище на гигантского сома-обжору, который разбухает и лоснится от сожранного, а ночью - на хищного ловкого барсука, который пробрался в овчарню и, впиваясь в овечьи курдюки, сосет жирную кровь.

Говорят, умелые руки и снег подожгут. Но с покладистым племенем албан как будто и не надобно такого искусства. Оно, подобно матери-верблюдице, покорно подставляло вымя ненасытному коварному сосуну и словно бы тешилось тем, как щедро поит его своим густым молоком. Купец - мастер доить! По девяти дорогам уплывали из Каркары отборные кони, дойные коровы, курдючные овцы. Мясо и молоко, живое тягло, тонкая шерсть и толстая кожа. Капитал...

Куйрук-бауыр - блюдо из курдючного жира и печени. Чудесное это блюдо - им

можно вылечить чахоточного. Оно же богатое угощение для почетных гостей, чаще всего сватов. Ну, а купцы все сваты. Не было в Каркаре торгового гостя, который не нажрался бы курдюка с печенью, по уши, до ослиной икоты. Вот почему знали это негромкое место (верстах в ста от города Верного) в торговых городах Сибири и Туркестана, Кашгарии и Китая. На словах - каркаринская ярмарка, а на уме - каркаринский курдюк...

Понятно, с жиру купец бесится. Со временем возомнили себя толстобрюхие, цепкорукие соперниками самой царской казны, и шеи у них замлели от чванства. Возгордились своей мошной, стали поплевывать в колодец, из которого пили, да потаптывать грудь, которая их вскормила. Запоминали, как, бывало, приезжали в Каркару на одной жалкой повозке. Кивали спесиво на свои нынешние караваны. Высмеивали мудрость здешних простаков, которые нет-нет да и грозили пальцем: не хлопай, братец, дверью, которую еще откроешь... Случается, в годину джута и бескормицы хозяин бросает павшую

скотину псам. Но пес, вскормленный мясом, бросается на хозяина.

Чудесная земля - Каркара, чудоджайляу. Травы густы и сочны, как масло. Сколько их ни топчи, сколько ни трави, они неистощимы. После дождя луга воскресали. Даже за ночь долина обновлялась, удивляя поутру чистотой и свежестью, зеленым олеском жизни. Большая Каркаринка, светлая река, вилась по долине, ее вод хватало земле, скоту и людям. Право, это место бог создал для ярмарки!

И все же долготерпенье здешних хозяев истощалось. Таяло стародавнее пастушье смирение. Казалось, разлилась желчь, и молоко Каркары начинало закисать.

\* \* \*

Знойный июль. На ярмарке пыльно. Подобно паршивой коросте, она облепила излучину реки. В самом центре базара на высоком шесте колышется белый флаг с двуглавым орлом. Тут власть, сила, которая вершит и правит, тут ненависть.

Главный и вседержавный под этим флагом и далеко окрест - пристав, тучный человек с воловьей шеей, обвешанный от плеч до пят оружием и прозванный Сивым Загривком. При нем его подручные, казахи-толмачи, тоже пузатые, распухшие от сытости.

Сивый Загривок глядит грозно, толмачи - двояко: на господина пристава - блудливо, точно младшая жена, осквернившая супружеское ложе, на прочих - свысока, надменно, с алчностью хорька. Заняты пристав и его слуги одним делом и в том деле без слов понимают друг друга. Не зря самого ловкого, самого близкого к начальству толмача зовут Жебирбаев, что значит Обиралов.

Они берут у всех, кто подвернется под руку: у простого люда и волостных управителей, у пастухов и купцов. Ярмарка - длинный рубль, то бишь большая взятка. Не далее как вчера Жебирбаев отправил в свой аул три сотни овец и полсотни голов крупного скота - через родню, кружившую поблизости, как воронье над падалью. Но это лишь закуска... При Сивом Загривке,

богоданном и обожаемом, Жебирбаев хлебал и солоно и жирно.

Вот и нынче в канцелярии господина пристава привычный шум. Сивый Загривок пробирал трех казахов, он топал ногами, весь в поту. Их благородие был в состоянии вдохновения. Потому и лик у Жебирбаева такой ледяной. Толмач словно видел и не видел просителей. Так порочная молодуха на глазах у супруга верна ему всей душой. Так натасканный пес в час охоты опережает хозяина.

- Дурачье! Олухи царя небесного! - кричал пристав. - На кого вздумали жаловаться! Кто вам, скотам, возит товары? Да не будь ихнего брата, купца, - бежать бы вам по всякую всячину за сто верст, в город Верный. Скажите на милость - потравил купец ваши земли... Как это понять - ваши? Земля-матушка - царева! И скот купецкий - царев. И сам купец - белому царю покорный слуга. От него польза и вам и казне. Экую взяли волю - купцу не пасти скот! Я тебе покажу, сучий сын, волю! Сгною в тюрьме!

Толмач с почтительным и угрожающим придыханием переводил речь пристава.

- Таксыр... каспадын... ваша-родей... - сказал истец постарше, седой Хусаин, коверкая от большого усердия и русские и казахские слова. - Но ведь и мы тоже слуги царя... Но ведь и наш скот - царев скот...

- Ма-алчать! Не рассуждать! Ну я вас закатаю... Всем по месяцу каталажки...

Пристав схватил бумагу, перо и, гремя шашкой, скрипя портупеей, вывел на листе страшное слово и тут же прорычал его сквозь зубы:

- Пр-рото-кол!

Невдомек пастухам, какой перед ними искусный шут. Теперь, казалось, и взятка не поможет. С немой надеждой они смотрели на толмача, ища в земляке поддержки. Но тот воззрился на бумагу со страшным словом, благоговейно открыв рот, играя в ту же игру.

Истцы переглянулись и опустили глаза, точно невесты. Разобиделись пастухи... Они пришли сюда искать правды, закона. Руки сложив, темя показывая, смиренно

пришли, как на божий суд. За что же им месяц тюрьмы?

- Выходит дело, - сказал самый молодой из троих, Картбай, обращаясь к своим, - раз я пастух - значит, виноват? Всякий наговор - уже вина! Что же, я раб безответный? Этот купец, казанский торгаш, брешет на нас бессовестно, а нас и слушать не слушают!

- Хватит! - оборвал его толмач. - Знаем, каков ты смутьян... Слышали...

Однако и старый Хусаин не сдержался:

- Куда ж нам податься? Ваша-родей! Вразумите... Разве так можно править народом? Вот что мне непонятно.

Пристав, подскочив к старику с кулаками, стал их совать ему в бороду

- Безмозглые! С-старый пес! А это тебе понятно?

- Как не понять, - сказал молодой Картбай, глядя прямо в глаза приставу. - Умней некуда! Каков правитель, такова и управа.

Старик все же придержал его за рукав потрепанного чапана: не перебирай, мол. А пристав побагровел, ноздри его раздулись, как у коня на байге.

- Ты... образина! А вы что вытворяете? По какому такому пр-раву избили того купца... Мухаметкерима... его слуг? Ты кто такой - чинить самосуд? Я тебе покажу самоуправство... Запру на тюремный замок, живо образумишься!

И пристав кликнул казаков, куривших из кулака тут же за дверью, в сенях и на крыльце.

Картбай усмехнулся. Подталкиваемый двумя конвоирами, сказал дерзко:

- Я вас не боюсь, в ногах валяться не стану... Само собой - купец-богатея не нам чета, вот и вся недолга. Нехитрая ваша наука.

Но пристав его не слышал. Пристав слушал себя.

- Убрать! Увести их! Заморю голодом... Я из вас дурь выбью... - кричал он уже в спины старому Хусаину,

Картбаю и третьему, молчаливому, так и не вымолвившему ни слова.

Когда же их увели, Сивый Загривок тотчас успокоился и сел, пыхтя и отдуваясь, с самодовольством поглядывая на толмача, словно спрашивая его: ну? каково?

Жебирбаев метнулся суетливо и согнулся в безмолвном поклоне, что означало восторг, преклонение и растерянность перед талантами их благородия. Пристав любил такое усердие.

- Разбойники, - сказал толмач удрученно. - Да если каждый будет замахиваться на купца... Да что станет с ярмаркой! Надо, надо проучить этих глупцов албан. - Сам Обиралов был из другого рода.

- Не-ет, шалишь, попляшешь у меня. Ни за какие коврижки не выпущу! - проговорил пристав и тут же, заметив подобострастную улыбочку толмача, добавил кратко:- За сто рублей! И кончен разговор.

- За сто двадцать, ваше благородие... - вкрадчиво поправил толмач, и Сивый Загривок сразу же его понял.

Купец Мухаметкерим побывал в канцелярии пристава, разумеется, раньше троих каркаринцев. Он тоже жаловался. Его овцы, нажитые на ярмарке, травили луга окрестных аулов, потому как где же им еще пастись? Одна из отар набрела на аул Картбая и старого Хусаина, объела

травы до самого очага, смешалась с овцами хозяев. Хозяева вышли было с миром, с увещеванием, но байские пастухи - народ балованный, самовольный. Чем богаче купец, тем отважней его холуй. Попробуй их усювестить! У них на все один ответ - так твою и так... Это великие охотники и умельцы материться. Ну, вышла стычка. Картбай выбрал самого нахального и намял ему бока. Другие ускакали. А почтенный Мухаметкерим поспешил в канцелярию, имея при себе конвертик, а в том конвертике восемьдесят рубликов. Конверт он вручил, прощаясь. Мог бы вручить и здороваясь. Нет еще того соображения. Тем не менее купец свое сделал.

А вот те каркаринцы будто с луны свалились. Будто им невдомек, что к их благородию с пустыми руками не суйся, на глаза не показывайся.

Как водится, господин пристав уважал обе стороны. Его справедливость имела два лица, ибо от природы ему даны две длани. Не глупо ли, в самом деле, принимать сторону одних, когда есть противная сторона! Ни тех, ни сих не обойди. Таков

порядок, непонятный только дурням в этой степи.

Впрочем, Жебирбаев порядок знает. Казах-степняк под замком не усидит. Это для него хуже смерти. Упрутся трое ходатаев - не выдержит родня. Кинется выручать. Тогда-то сведущий толмач внушит им азбучные истины: в каком разе берется восемьдесят, а в каком - сто двадцать.

\* \* \*

На очереди у пристава было другое дело, необычное, оно много важнее ярмарки и всех иных дел. Поначалу их благородие струхнул малость, поскольку дело было не по статье торговли, а по статье той самой - пронеси, господи, - политики. Касалось оно военного ведомства, и, может быть, впервые в своем азиатском захолустье господин пристав задумался над тем, что Российская империя уже два года тащит кровавое ярмо нескончаемой войны с Германской империей. Вдруг война словно приблизилась к здешним тихим краям, а рука у военного

ведомства тяжелая... Однако и на сей раз пристав рассудил по-своему.

Хитрая ухмылка расплылась на его губах, он посмеивался в усы. Что это он оробел при своих двадцати годах службы в степи? Случай, правда, нерядовой и небывалый... А взяться умеючи - быть бешеным барышам! Похоже, что так. Вот когда местный род албан у него в руках - и голытьба, и знать, и богатеи.

А дело было такое. Утром сегодня подоспела казенная почта и пришла гербовая бумага в форменном пакете под сургучными печатями. Указ государя императора, белого царя.

По правде сказать, не все тут было ясно. Начиная хотя бы с замысловатого титла... О реквизиции инородцев на тыловые работы по военной надобности. Неслыханное занятие. Но ясно одно - указ! Здесь, в дикой степи, он подобен воле божьей.

Сивый Загривок умел толковать законы. Закон состоит из артикулов, меж ними пробелы. В этих пробелах - самая соль. Они подобны рытвинам да ухабам на прямой дороге. За такой малой рытвинкой можно верблюда спрятать, человека убить, вырыть

золотой клад. Ну, а царский указ - всем законам закон. Перед ним все прежнее - мелочь, гроши.

Пристав поманил пальцем толмача, показал ему бумагу с двуглавым орлом. И затрясся от сдавленного смеха, увидев, что изобразилось на его сладкой роже. Жебирбаев словно верил и не верил негаданному счастью; заплывшие его глазки, казалось, подмигивали друг другу. Пристав кивком укрепил его веру. И сам в ней укрепился.

Правой рукой пристава был урядник Плотников; долговязый сухопарый казак с длинной раздвоенной бородой, всей своей статью напоминавший борзую. Урядник Плотников свободно говорил по-казахски и был недреманым оком начальства на ярмарке. Это око мигом находило виноватых - сколько их благородию надобилось. Ему первому из русских чинов пристав дал в руки царский указ. В русской грамоте Двухбородый был не силен, в бумагах не разбирался и понял только то, что начальство довольно и до поры до времени следует держать язык за зубами.

На радостях он высморкался, делая вид, что прослезился.

Осведомил пристав и чиновников - судью, следователя, надзирателя, и они, разгуливая по пыльному базару, то и дело сходились вместе, чтобы обменяться лукавыми усмешками, поскольку все они плели одну паутину.

Пожалуй, дальновидней других был следователь -недаром носил очки с толстенными стеклами. Он лучше знал казахов.

- Новое это дело для степняка, непривычное. Недурно бы посоветоваться, под каким соусом его преподать.

- Извольте! Советуйтесь... А я слуга покорный! - возразил пристав. - У меня - живо!

- Собственно, и я не охотник мешкать. Но здешний народ - как скот, полудикий, необъезженный. Привык весьма вольно кочевать по степи и потягивать себе кумыс.

- Вот и нужно его по шеям, сударь мой, чтобы и головы не поднял. Чтобы и не вспомнил про разные там соусы... Мы станем советоваться - и их обучим. Не дать рассуждать!

- Положим, это так. Положим, вы правы...

- Ну, так и с богом! - перебил пристав. - Вызовем волостных, объявим указ, и без разговоров! Никаких поблажек, ни малейших проволочек. Исполнять бегом, не дыша. Думать только о том, как бы поживей да попроворней. А понадобится, видите ли, совет я к вашим услугам.

И Сивый Загривок с удовольствием сжал толстые пальцы в кулак.

Следователь промолчал. Он видел, что на самом деле пристав отнюдь не так спокоен, как старался показать. Недаром, призывая собрать волостных, пристав назвал первым имя Рахимбая. Этот господин был не столь умен, сколь оборотист, из самых ретивых и угодливых.

\* \* \*

Ярмарка - великий сбор господ и слуг. Здесь живут тесно, как в городе. Все влиятельные, знатные, власть имущие из рода албан толкуются на ярмарке постоянно, а при них - несметная свора прихлебателей.

Заняты они куплей-продажей, но чаще бездельем и тайными кознями. Иные, развалясь на коврах в своих богато убранных юртах, пьют хмельной кумыс, играют в карты, а иные с утра до вечера в чайханах едят сурпу, узбекские манты, прихлебывают зеленый чай, беседуя с жаром пророков, с достоинством козлов.

Обыкновенно волостной управитель держится в своей волости удельным князьком, этаким чистопородным вожаком-бараном с крутыми рогами и большой мошонкой. Здесь, среди себе равных, а то и старших чином, волостные выглядят скромней. Не так орут, как дома. И вроде бы не так самоуправствуют. Однако при каждом непременно свита. Повсюду неотлучно толмач, и, конечно, посыльный с нагрудной медной бляхой размером покрупней, и, на худой конец, хотя бы один-два аксакала видом поосанистей, побогаче. Без них волостному срамно показаться, как женщине без нескольких юбок. Все же при волостном печать! А она равнозначна рогам и мошонке у барана.

Первейшее и излюбленное дело у этих людей - интрига. Все они политики, а на ярмарке все начальство. Этот на короткой ноге с урядником, а тот и с самим приставом... Любая распря, склока, неурядица разрешается в конечном счете там, где русский чиновник. На одного навлечь гонение, другого прикрыть, запутать умника, обмишурить глупца - вот где раскрывались таланты волостных и их подручных. От века так было: там, где волостной, всегда свара, мутная вода, а в мутной воде рыбка.

У волостного Рахимбая была репутация дельца изрядного. Он был моложе других и худо-бедно, а все же балакал по-русски, умел потрафить и был ближе к начальству - это придавало волостному особый вес. Случалось, сам пристав окликал его по имени, подавал руку, приглашал на чай. Это дороже денег! Считалось, что Рахимбай вхож в дом пристава, и на ярмарке Рахимбая знали все, толкали друг друга локтями, когда он появлялся. Вот за что Рахимбай почитал пристава, вот за что любил. И уж по ярмарке ходил индейским

петухом, совал нос в любое дело, всем покровительствовал, всех поучал, благо язык у Рахимбая был без костей.

Посыльный пристава застал его на людях, в узбекской чайхане, где он обедал, по обыкновению, за чужой счет. Был он в тот день на базаре с женой и сынком, баловнем, и как раз попался ему на глаза старшина одного богатого аула из родной волости. Пришлось уважить человека, сделать ему одолжение: «Э... видишь, моя жена... хочет отведать манты... для того только и приехала... Так что поворачивай коня - угостишь нас узбекскими мантами!» Это было у Рахимбая в обычае. Ну и засели в чайхане, и пошли манты, сурпа, кумыс и лганье, бахвальство самое несусветное.

Тут-то и подоспел посыльный - от самого пристава. Объявил - зовет его пристав... Рахимбай постарался, чтобы это услышала вся чайхана. Знай, мол, жена, знайте все, с кем мы знаем.

- Седлай коня! - скомандовал он старшине и с важным кряхтеньем стал подниматься. - Что-то мне хочет сказать мой старый друг?

Когда Рахимбай прискакал, все волостные были в сборе. Но он, никого не замечая, прошел прямо к приставу, хотя тот был нынче мрачноват. Хмурились и урядник Плотников, и четырехглазый следователь.

- Здрасти...

И Сивый Загривок на миг будто бы посветлел.

- А, прибыл наконец. Садись, садись.

Тотчас посветлели и толмачи и за руку поздоровались с Рахимбаем, единственным из волостных, поскольку с ним одним здоровался пристав.

Рахимбай, надув шею и страшно кряхтя, словно собирался по меньшей мере снести золотое яйцо, уселся.

Сегодня у пристава тесно. Волостных управителей десятеро, а всего - с биями да аксакалами - человек пятьдесят. Многие сидели на полу, держа шапки в руках.

Пристав встал. Он медленно багровел от натуги. Голос его был неестественно зычен, но речь невразумительна. Из всего начальства Сивый Загривок самый недалекий. Хоть он и грамотней урядника

Плотникова, но не гораздо ученей... Не умудрил господь говорить речей.

- Война, милые мои, война, - начал он. - Надобно и нам с вами посильно посодействовать... Об том царь-батюшка и повелевает... Это не дело - распивать кумысы, когда тут, изволите ли видеть... война! Все государство терпит лишения, кровь проливает... По сему случаю прибыл высочайший указ. Па-пра-шу встать! Оглашаю указ государя императора...

Указ оказался тоже недлинный.

Жебирбаев должен был его перевести, но он был натаскан по части взятки, а в прочих занятиях - ни в зуб ногой. Кроме того, Жебирбаев не из рода албан, его слушали бы с подозрением.

Следователь предложил своего толмача по имени Оспан. Этот человек был в хозяина - умный и приличней других, имел почтенный вид и даже добрый нрав. Как и все толмачи, он наживался при начальстве и в том находил вкус жизни. Он не забивал себе голову такими праздными вещами, как убеждения или мысли. Никакой такой суеты не было в его сердце. И все же

благолепие, обходительность украшали его. Хорьки злобны, а лисы, пожирая курицу, улыбаются.

Последнее время слышал он краем уха, что где-то там в Казани будто бы издается казахская газета и будто бы она печется о делах степняков. От этих слухов он отмахивался, как пес от слепня, а то и клацал зубами, поскольку слепень неотвязчив.

Указ его не слишком беспокоил. Больше его тревожило то, что начальство не в духе. Он и старался угодить, не осрамиться. А что за страсть он переводит — не задумывался.

Толмачил он хорошо, понятно. С ясной, светлой, добродушной улыбкой. Чего указ требует? Немедленно, спешно сдать властям джигитов. Спрашивается - каких? Написано: в возрасте от девятнадцати до тридцати одного года, не моложе, не старше. Для чего? Для нужд фронта. Сказано, однако, что воевать они не будут. Понимай - с оружием в руках. А будут они заняты на тыловых работах.

Будут в тылу. Так точно и указано, слово в слово.

Одна лишь заминка вышла на слове тыл. Где это страхолюдное место? Какой оно волости, уезда? Уж не так ли теперь именуется, спаси аллах, тот край, где на собаках ездят, - Сибирь?

Тут толмач слукавил - с поклоном, с извинением повернулся к господину следователю. Начальству приятно, когда ты в затруднении. Начальство знает, что ты не можешь знать того, что оно знает. Улучи момент, покажи внезапно, со стыдом, а то и с детски наивными глазами всю свою тупость, истинное слово ничтожество - не проиграешь. Умней начальства только круглый дурачок, блаженный слепец...

И мудрый Оспан споткнулся на малознакомом военном слове. И погрузился в раздумье, услышав от следователя, что их родная Каркара, представьте себе, есть тыл!

Когда же толмач закончил, оторвал взгляд от бумаги, он увидел то, чего еще не видывал в канцелярии пристава. Пожалуй, ни одна бумага из тех, какие Оспану

доводилось держать в руках, так не ошарашивала людей. И это ему льстило.

Никогда прежде не было здесь так тихо. И так темно, как будто солнце затмилось. Все были ошеломлены, и господа и слуги, и, кажется, не менее прочих само начальство. Волостные, вылупив глаза, не мигая уставились на пристава и толмача; в глазах только испуг.

И те и другие онемели. Даже румянький Рахимбай побелел и словно разом отощал; шея - как у ощипанной курицы. Страх клубился в воздухе, подобно табачному дыму. Сивый Загривок внушительно топтался на месте, скрипя сапогами и портупеей, но, видать, и он опешил. Так и стояли и молчали...

Хороши были волостные в этот постылый час. На последних выборах как будто бы подобрали деятельных людей, молодых, не старше тридцати; многие из них кумекали по-русски. Бойко они распоряжались, но они ли правили? Ни одного настоящего дела не решали без родовитых, богатых баев, которые и

сделали их, молодых да притких, волостными управителями.

И теперь все они мысленно спрашивали тех, старших: как быть? что отвечать? Строили догадки. И каждый ждал, что скажет другой. Десятеро... при десяти печатях... А ни у кого ни совести, ни воли. Все поджали хвосты.

Пристав густо откашлялся и со значением посмотрел на следователя, приняв трусость за послушание.

- Так вот, указ, - сказал он. - Незамедлительное выполнение! Указ царский. Так что сами беритесь за списки. Все иные дела побоку и в сторону. Докладывайте списки джигитов на реквизицию. Спрашивать буду лично по всей строгости закона военного времени. Война-с, господа, управители, война-с!

Волостные зашевелились. Понуриив голову, они исподтишка переглянулись и вроде бы перешептывались. И казалось, что они скалятся друг на друга и шипят.

Нашелся, однако, один, обретший человеческий язык. Это был Аубакир. Он тоже из молодых, взгляд острый, с

прищуром, дерзкий взгляд. Нравом горяч. Говорит не церемонясь, без околичностей, хоть без начальства, хоть в глаза начальству. С этим молодцом пристав столкнулся раза два и люто его невзлюбил.

Ждал пристав, что ответит ему Рахимбай, но ответил Аубакир:

- Указ нам огласили. Мы его выслушали. Но мы не знавали такого указа. Он как гром на нашу голову. Почернели мы до пят от этого грома. Казах, сколько ни живет на белом свете, не видывал, не слыхивал такого слова от царя! Что мы можем сейчас сказать? Пошлите нас к народу, будем советоваться с народом. Разве это не так? Разве это не нужно?

И сразу же точно прорвало: хором загалдели все остальные, перебивая друг друга. Все подняли хвосты.

- Так... точно так... Правду говорит... Разве неправду? Что тут еще скажешь? Вдруг с бухты-баракты... Советоваться! С народом!

Теперь следовательно со значением покосился на пристава, а Сивый Загривок позеленел.

Такого галдежа, такого разврата он не упомнит в своей канцелярии за двадцать лет беспорочной службы. Он ли не знал этих скуластых, черномазых как облупленных? Бай вечно кивает на дядю, когда с чем-либо не согласен, и уж этого дядю хвалит либо бранит с жаром. Это Сивый Загривок знал. Но знал он и другое. Всегда сыщется да выскочит какой-нибудь рахимбай и поклянется за всех других: будьте покойны, не подведем, исполним!

Где же этот шельма Рахимбай? Вон он - прячется за спинами других... Каков гусь! Вроде бы он впереди всех и вроде бы нет его вовсе... Разрывается - хлопчет, подталкивает других, а сам ни гугу... Нынче от него почина не жди.

Пристав поискал взглядом еще одного, другого. Повел этак начальственной бровью... Те ели его глазами, как солдаты в строю, но языки проглотили.

Экая досада, однако. Такой счастливый случай! Казалось, привычное, законное дело: приструнить, настращать - бездонные карманы наполнятся, поспевай братъ. И вот на тебе!

Такой смирный, спокойный, покладистый народец, тишайшее племя во всей бескрайней безгласной степи... Посмотришь - раб, пастух сиволапый, вроде бы не богомолен, а бабу не бьет, при старце не сядет, трезв, песни складывает каждый третий! Дери с него шкуру - поет, бренькает на своей домбре... А уж эти, эти-то господа, холопыи души... Советоваться, видите ли, с народом!

Будто подменили. Не узнать.

Доныне Сивый Загривок знал одну силу - высшую, богоданную, самую страшную. Стало быть, есть еще другая сила? Неведомая бесовская, и она страшней его силы, а значит, всего на свете?..

Это была даже не мысль, не догадка, а внезапное ощущение, и пристав содрогнулся от этого жуткого для него ощущения, а следом за ним, глядя на него, содрогнулись следователь и урядник. От них не ускользнуло то, как пристав поднес к груди ладонь, сложенную щепоткой, и мотнул ею, как бы незаметно, непроизвольно крестясь. «Ужас... ужас...» -

мысленно бормотал следователь. Этакого конфуза и он не ожидал.

Аубакир... Теперь на него были обращены все взгляды. Волостные жались к нему, точно к аксакалу... Опасный человек. Вот кого надо к ногтю. Давно уже он у властей на примете, а все-таки недосмотрели. Попустительство.

- Да-с... Вот, значит, как... - сказал наконец пристав. - Порадовали вы меня, право, порадовали. Это вам зачтется, господа мои! Сколько лет служу, на моей памяти ни вы, ни ваши люди ничегошеньки перед царем-батюшкой не заслужили. Так-то вы верны, так-то служите государю императору! Запомню, господа, запомню. Ну, что ж... так и быть... разрешаю... Даю вам три дня сроку. Езжайте по домам, советуйтесь. Хоть с чертом лысым, хоть с овцами да баранами, извольте, сделайте милость... Но чтобы через три дня списки были у меня здесь на столе! Через три дня - списки!

Иначе - пеняйте на себя. Я лишних слов не люблю-с. Да-с! И баста. Кончены разговоры... Езжайте!

Расходились молча, словно из дома покойника. Рахимбай и еще двое, те самые, на которых пристав рассчитывал, стали пробираться к нему, показывая, что они не как иные, они его люди, его уши, его глаза. Каждый из них надеялся услышать от пристава особое доверительное словцо.

Однако сегодня Сивый Загривок был неласков. Лишь Рахимбаю бросил на ходу через плечо, углом рта:

- Сма-атри у меня! А ты туда же... ловчить? Я т-тебя, братец!..

## Глава вторая

Минула короткая ночь, настал черный день. Наутро об указе знали везде и всюду, стар и млад. И поднялся над аулами женский вой, детский плач. У всех на устах были уродские страшные, необъяснимые слова: реквизиция... тыл... Старики сокрушались, а молодые поглядывали в сторону Алатау, на его ущелья и леса. Надсадно ревел брошенный без присмотра скот. Из края в край скакали гонцы, хлеща

коней плетьюми, а людей дурным ошалелым криком. Слухи были один другого нелепей.

Около полудня в слепящем знойном небе над степью пронеслась одинокая туча. Она походила на сломанное обвисшее крыло дракона. А под тучей от земли до неба взвивался и раскачивался клиноподобный вихрь без грома, без свиста, устрашающе беззвучный. Когда туча была над лугами, срывались и взлетали ввысь травы, когда над рекой - ввинчивался в небо чудовищный сосок воды.

Смерч прошел над ярмаркой, мгновенно вздув столбом песок, пыль и мусор, срывая крыши, ковры и кошмы, валя и расшвыривая прилавки, коновязи, повозки, унося во все стороны шкуры, ситцы и шелка, взметнув выше птичьего полета пятнистую мелькающую игривую занавесь гребней, зеркалец, ниток и посуды. И пошел гулять далеко в степь, до Кегена, и дальше до Туза, и там внезапно рассеялся и исчез.

Но уже к вечеру по всей округе, во всех аулах, на всех летовках узнали, что над

Каркарой было знамение. Под видом июльского смерча прилетал дух великого предка. Он явился, чтобы заступиться за безвинное и беззащитное племя албан.

Сведущие люди толковали знамение так. Это было внушение: приставу - «не обижай, не гони моих людей...», а людям - «увертись, не дам в обиду...». И многие люди слушали знатоков и верили. Поздравляли друг друга; объясняли со слезами умиления: освобождают! отменяют указ! не погонят джигитов!

Ярмарка опустела. За целый день ни один казах не купил коробка спичек. Замерло громадное торжище, уснуло, как в сказке.

Не дымились пекарни. Не благоухали маслом, тестом и мясом манты. Торчали порожняком чугунные котлы, медные чайники. Словно водоросли в заболоченном озере, висела конская сбруя, никому не нужная, непонятно, для чего предназначенная. Осиротели в лавках ткани и платья, подобно одежде покойника, к которой казах не притрагивается целый год. Ни одной

живой души у прилавков, ни одного коня у коновязи. Все девять дорог с ярмарки, со всех сторон света точно вымело. Мертвые дороги, загадочные, голые, как тропы в пустыне. Тишина удручающая, сонная одурь.

Только чрево несытое купецкое урчало. Бесились купцы, ругали, кляли этих простаков, глупцов, этот убогий народ. И что за дикость! Вчера тут топотали, ржали десятки, сотни верховых коней, лавки трещали от люда, не протолкнешься, не продохнешь. И не одно мужичье - старухи, молодухи, девки, смешливые такие дурочки; они платили, сколько ни запросишь, не торгуясь. Нынче забрел бы slučajем бес порточный батрак, принес бы хоть завалящий клок шерсти, хоть сырую шкуру... Спросил бы хоть пиалушку для почина... Даром бы отдали, проводили бы с поклоном.

Куда подевалось вчерашнее благодушие и щедрость, щедрость уморительно деликатная, словно смущенная тем, как она недостаточна, ничтожна? Все сторонятся ярмарки, как сточной ямы, а купца - как зачумленного. И у последнего оборвыша,

который вчера стеснялся поднять на тебя глаза, сегодня во взгляде, в сжатых губах, во всей осанке такое презрение, как у хана при виде черни. Как будто разом все постигли, откуда их беды и кто они есть на этой земле...

Между тем в степи, в цветущей Каркаре, не стихали плачи и причитания, моления и заклинанья. Дурные и добрые вести сменяли друг друга с быстротой ветра и опадали, как осенняя листва. У каждой летовки были свои пророки, и люди внимали им с жадностью, с безотчетной надеждой. Но как ни верили в духа предков, знали, видели: ни с вечерней, ни с утренней зарей не кончится черный день.

Нет, не минует это бедствие, не обойдется само собой, как мечтали, как гадали...

\* \* \*

Тогда пошли люди к Узаку и Жаменке.

Узак, невысокого роста крепыш с седеющей бородой, был батыр. В каменной груди у него билось храброе сердце. А кто

знал, тот знал, что у батыра Узака к тому же разбитое сердце.

Жаменке - аксакал. Ему за семьдесят, но он еще выглядит орлом. Это красноречивый человек, за ним всегда последнее слово, однако спорить он избегает, в споры ввязывается лишь по крайности, как бы уходя в себя, предпочитая размышление.

Немногословен и батыр Узак, не любит длинных речей и мастер оборвать болтуна. Скажет - как отрежет. Слово у него - как кол.

Батыр Узак и Жаменке - давние друзья. К ним-то и стекались люди имущие и неимущие; шли с утра до вечера из Кары, Лабаса, Сырта...

Уже был съеден жертвенный скот. Прежде всего, понятно, принесли жертву с усердной молитвой. Так поступают, когда захворает родич, когда нет дождя; просишь у бога даянья - воздай ему сам. С этого и начали совет - на холме Танбалытас, близ аула Узака.

Узак молчал. Целый день он слушал одного за другим всех, кто пришел к нему. Но он слышал лишь жалобы да сетования.

Сплошной стон. «Жили как умели. Жили да жили... А тут конец света». Никто не мог сказать ничего дельного, даже один почтенный старик, который дольше всех говорил.

Узаку опостылело празднословие, он плюнул в досаде.

- Ты перестанешь, что ли? Плачешься, как вдова по покойному мужу. Не я выдумал этот указ, нечего передо мной распинаться. Ступай поплачься перед приставом. Держу я тебя, что ли? Или говори дело.

Крутой нрав батыра известен. Но по тому, как он оборвал седобородого, как угрюмо насупил брови и сверлил людей маленькими зоркими глазами, было ясно: и он не в себе. Что-то он замышляет и чего-то ждет от собравшихся. Он себе на уме. Но, видать, и ему трудненько... Понимал это и Жаменке и не мешал Узаку собраться с мыслями и найти в людях то, что он искал.

Однако все ждали их слова. Албаны как дети - любят ласку, но утешать нынче грех.

Долго длилось молчанье, терпеливое, покорное и тем более тягостное в такой день, в такой час. И вот заговорил Жаменке:

- Мы, албаны, младенцы. Тепло нам, уютно у материнской груди... Немало я прожил, есть и постарше меня, но на нашем веку мы не помним джута на Каркаре или мора на скот. Не бывало и мора на людей. Как ни теснили нас, чего ни сносили мы, видит бог, оказывается, золотое было время! Нынче обходит нас счастливая доля. Хлынула на степняка беда. Вон она, батыр, вон она над нашей головой! Не обессудь - когда переходят реку вброд, больше всего грузят на большого верблюда. Хочешь не хочешь, подставляй горб. На тебя первого бросится Двуглавый орел... в обличье того Сивого Загривка... потому что к тебе пришел народ. Мы знаем: не о себе думаешь. К чему оно нам с тобой, наше благополучие, если народ, народ в тупике! Кто ему укажет путь? А теперь... говори, батыр! Узак ответил тут же, сердито ответил:

- Говоришь, хорошо было, да, хорошо... Чего бога гневить, завидные у нас летовки! Ну, а разве в твое золотое время, отец, не видели мы нужды? Разве теперь только бедствует степняк? Когда, спрашиваю вас, мы жили безмятежно? Разве в первый раз в нынешний год нас, вольных коней, рожденных в великой степи, обратали? И что же, на вашей памяти не гладили нас пулей? Неужто, отец? Так ли, аксакалы? Назовите мне день, когда вы не жили под страхом, моля о спасенье. Что вы так всполошились, разохались? И до белого царя бывало... то ли бывало! И этот царский указ не сегодня рожден. К тому дело шло издавна. Не видите, не понимаете, что ли? Эй вы, инородцы! - вдруг вскрикнул с гневом Узак. - Ежели вы народ... ежели вольные кони... пора на дыбки да лягнуть копытами. Нету нас другой судьбы. Держись, крепись, брат, день - так день, год - так год, хоть всю жизнь до смерти. Вот мое слово... А кто думает не так - скатертью дорога, пускай бежит к приставу на реквизицию...

Был при этом Серикбай с дальней летовки Донгелек-саз, тамошний голова, сверстник и друг волостного Аубакира. Пришел он сюда для того, чтобы услышать слово Узак. И не обманулся - где еще услышишь такое слово?

- Кому же охота к приставу! Кто сунет башку под указ! - сказал горячо Серикбай. - С этим к вам не пришли бы. Народ вам доверился, мы вам верим. У вас в голове - то, что в душе народной. Все хотят, чтобы мы сказали: не дадим джигитов! Ну вот, сказано... сказано, люди! Вот с чем идти к Сивому Загривку.

Узак, прищурясь, пронзительно посмотрел на Серикбая. Этого неробкого человека Узак уважал, его горячность нравилась ему, но на душе было беспокойно. Сказано-то, сказано... И на словах не сразу соберешься с духом, а в деле? На что рассчитывать, на кого опереться? Об этом думал Узак целый день.

- Думаю... надеюсь... - медленно сказал он, - что и другие казахи, не нашего рода, поднимутся, не покорятся. С ними бы рука об руку, гуртом, сообща... Мы-то, албаны, закоснели... больше привыкли ходить

вокруг да около, водить за нос самих себя. Примеряемся и так и сяк. А как придется отрезать? А ведь придется! Мира теперь не жди. Царь не отступился, пристав не простит. Что же, рвать корни... сниматься с родимых мест с детьми, семьями, скотом... грызть локти да уходить? Из этой вот благословенной Кар кары, где ни джута, ни мора... Куда? На чужбину! В незваные гости! В пески да пустоши... к тому шайтану на поклон... отцам в кабалу, а детям в рабство!

Это было у всех на уме. Деды, прадеды не забудут, как уходили невесть куда, в Синьцзян... Истинно что к шайтану. Возвращались ободранные, голые, чтобы хоть при последнем издыхании припасть к отчему роднику, из которого мать обмывала тебя при первом твоём вздохе. А сколько не вернулось, умерев на чужбине! Вот, что было у всех на уме.

И опять первый сказал Жаменке:

- Пристав дал три дня сроку. От него спуску не жди. А зараза эта моровая. Чего же ради нам тянуть? Только подрежем себе поджилки, притушим гнев народный.

Сказано: не дадим джигитов. Так тому и быть! Будем поднимать народ.

Поднимать народ... Давно не слыхивали таких слов. Заветные слова.

- Вот это мне по душе! - возвысил голос старый Жоламан, сам бедняк и отец бедняка, молчавший с утра, пока другие скулили. - Истинная правда: будешь тянуть время, метаться промеж власти и народа - худо дело обернется. Найдутся подлые души, вывернутся наизнанку - угодить начальству. Они-то успеют! Их упредите, чтобы побоялись грешить против народа. Будем заодно, так и с этими пройдохами совладаем. Скажем всем волостным: не дадим джигитов! А там и к приставу: слушай, мол, как порешили... народ порешил!

Узак вздохнул: старик попал в точку. Волостные... они всюду успеют.

- С этого начать, - сказал Узак твердо, - не валандаться с волостными. Не с чего им задирать носы, коли у девятерых из десяти сопли по пояс. (И люди со смехом закивали головой.) С ними построже. С ходу их обуздать! Сказать сразу: если что... не

помилуем. Хватит морочить голову людям, обрыдло пустозвонство, пустобайство. На кой бес нам волостной, который жрать садится с начальством, а чего иное... с народом!

Громкий хохот прервал речь Узака. Так их, батыр, так... Вот это по-нашему.

- Для нас, степняков, грош цена и их власти, - закончил Узак. - Нам дай небо повыше, травы пошире, волю попроще!

- Ой-бой... - прошелестел общий вздох.

Это было у всех на уме. Узак безошибочно и безжалостно ткнул в наиболее место.

- Сивый Загривок высоко, можно сказать, в тронном седле, а пониже, у нас, на самой шее сидят да погоняют свои приставы да урядники доморощенные, единородные. Воля попроще... Где она, батыр?

«Сжечь все мосты, - думал Жаменке, - чтобы некуда было пятиться волостным, чтобы стояли как вкопанные, боясь кары божьей, воли народной».

И думая так, сказал:

- Завтра же заколю жертвенного коня, приглашу к себе волостных. Думаю, что явятся все. Но полагаться на ихнего брата, верить, что они пойдут с нами, -глупей глупого. Тут-то и подковать их при всем честном народе. Клятвенно упредить: прогоним с позором из нашего рода на веки веков как предателей, как врагов.

На том и поладили. Согласились... И так стало славно, чудно у всех на душе в тот поздний час, по вечерней кроваво-красной заре, предвещавшей ветер. К аулу с холма совета шли, обнимаясь. Поздравляли друг друга, благодарили и благословляли. Пели, но не смеялись, больше лили слезы.

А в ауле повскакали на коней и разлетелись по всем дорогам и без дорог с буйными криками, с ликованием, унося в темную степь, в безлунную беззвездную ночь светлую весть. Старшие сказали: не дадим джигитов!

\* \* \*

На другой день спозаранок в Акбеит на жертвоприношение Жаменке съехались

джигиты рода албан. Собрались влиятельные аксакалы, баи и бии всех аулов. Прибыли и те, кому пристав читал указ, все десятеро.

Юрта Жаменке посреди аула. Вокруг нее столько коней под седлом, как будто здесь открылась новая ярмарка... Весь ближний берег реки кишел людьми. Конники, конники... Их не меньше, чем сосен в бору Лабас, за рекой.

Пылали костры, дымились котлы. Жар и пар - не подступишься. Тут и там кололи скот, рекой лился кумыс. Без этого сборы у казахов не обходятся. Пили кумыс, хмелели, и открывались люди, изливались душа в душу.

Заглавный, наибольший круг самых знатных, именитых, самых полномочных расположился на лугу. Всех прочих держали в юртах, поили чаем и кумысом, чтобы не мешали, не лезли на глаза и под ноги. Решать должно аксакалам. А молодежь да беднота только отвлекают, тратишь на них попусту дорогое время... Так полагали опытные распорядители. Зря, однако, старались. Изю всех юрт спешили к

лугу рядовые джигиты, окружая его тесным живым кольцом.

В центре круга, насупив брови, надвинув до бровей черные каракулевые шапки, сидели Узак и Жаменке. Волостные управители, разодетые напоказ, с кричащей роскошью, избегали встречаться с ними взглядами, отворачивались. И те и другие смотрели грозно. И те и другие молчали.

Долго молчали, словно пережидая друг друга. И казалось, что в молчании решается, кто здесь хозяева, кто гости, кто судьи, кто ответчики. Молчание затягивалось, но чем оно истовей и церемонней, тем весомей слово, важней и значительней собрание. Здесь не ярмарка и не торговля, здесь совет и суд чести.

Кто же все-таки начнет?

- Уа, сыны албана! - сказал, слегка приподнимаясь, Серикбай, не самый молодой и не самый старый, уже известный, но еще не именитый. - С чем приехали? В такой трудный час можно ли отмолчаться? Мы слышали вчера слово аксакалов. Оно всем известно. Завтра вам

отвечать приставу. Народ хочет знать, что ответите!

- Так, так... верно! Народ ждет... - раздались голоса со всех сторон.

Люди задвигались, зашептались. Старшие прокашливались.

- Слушаем, слушаем! - зычно сказал молодой Турлыгожа в тон Серикбаю. - Все знают, по чьему зову и чего ради мы собрались. Пусть не те времена... но и мы, албаны, не без вождей. Пусть ведут! Мы готовы! Пусть скажет аксакал...

- Что ж, дети мои... аксакал свое уже высказал... -сдержанно начал Жаменке, и морщинистое его лицо потемнело от гнева, это все видели, но голос был тих, печален и задушевен. - Говорят, старый баран - это долгие годы, а молодой - быстрый ум. Есть у нас молодежь, джигиты, способные и достойные быть вожаками. Пора им заговорить! Лучше новая бязь, чем линялый шелк... Мы постарели, родные мои, наши шапки помялись, вместо былой силы - немощи да недуги. Наше время ушло, ваше время приходит. Новое время и великое испытание для вас, албаны! Кто

болеет душой за народ, пусть подпоясывается потуже... Я свое прожил, свою долю съел — чего мне еще желать, просить у судьбы? И чего ты недобрал у жизни, Узак, батыр? Кто пойдет с нами, увидит, мы не дорожим тем, что нам осталось. Мы стары, но мы будем в твоих рядах, народ! Это мы сказали вчера... говорим сегодня... скажем завтра! Судите, как это вам, по душе ли? А мы послушаем вас, молодых... тех, у кого вожжи в руках... Что услышим?

Негромкий говор пронесся над лугом, говор стариков. Это были их голоса, довольные и сочувственные, а в иных слышались и слезы.

- Ах, хорошо... любо... Не посрамил, не подвел... Сердцем говоришь, брат...

Молодые молчали. Но их возбужденные лица загорались гневом, как и морщины старого Жаменке, и это было то, чего он хотел.

Волостные утратили лоск. Кажется, не было в речи Жаменке угрозы, одна горечь, а между тем слышали правители словно бы новый указ, и был он страшней и

опасней для них, нежели царский. Такого оборота они и ждали и не ждали... Вторые сутки они ломали голову, как бы ухитриться не вымолвить на людях ни да, ни нет. И теперь обрадовались, когда опять первым, как у пристава, вылез этот выскочка Аубакир.

- Спасибо, аксакал, - сказал он горячей скороговоркой. - Слышали вас все. Все благодарны. Лучше не выскажешь чаяния народа. Лучше ему не послужишь. Не дадим джигитов! Иначе и быть не может... Хорошо... Но тогда что же! Как сказал вчера батыр

Узак, нам, албанам, доля одна: бежать куда глаза глядят! Узак в дружбе с калмыцкими жожаками. Глядишь, выпросит у них землицы года на три? А за три года, поди, и войне конец...

Ропот прервал Аубакира, и он с недоумением осмотрелся. Его не дослушали, и он так и не понял почему.

Бойко он говорил! Легко у него все получалось про долю албан - бежать куда глаза глядят... Нет, не так. Вовсе не так, как вчера батыр Узак... Скор, однако, милый,

храбрый наш Аубакир! Побежит - на коне не угнаться...

- Не спеши, - сказал, выручая его, Серикбай. - Чего перескакивать с пятого на десятое? Ты сказал: не дадим джигитов. Ладно, хорошо... Это мы слышали. А что скажут остальные? Не слышим!

- Не слышим... не слышим волостных! - подхватил Турлыгожа своим трубным голосом. - Чего молчат? Чего дремлют?

И по всему лугу молодые и старые закричали: не слышим!

Рахимбай ерзал на месте, кряхтел и кашлял. До сих пор у него и наяву и во сне звенело в ушах: «Сма-атри у меня!» Замучился, несчастный, извелся. Вот, может быть, последний случай прыгнуть выше блохи...

- А что волостные? - вдруг сказал он. - Объяснили вам на счет списков... Теперь передадут приставу вашу волю. Кто такой волостной? Посредник, клянусь аллахом! А посему... чем кивать на нас, орать на нас... не лучше ли заняться делом, потрудиться самим, всем миром... Господин пристав - он как объяснял: война-с! Указ военный, всех

касается одинаково - и казахов, и киргизов, и уйгуров. Тыловые работы... рабочие руки... выложить, говорит, и подать... Война-с! Так объяснял. Что же тут волостные могут поделать? Была бы наша власть, наша сила... Мне вон было лично указано при всех других: «Сма-атри у меня!» Это надо понять. У царя слуг много, их - как деревьев в лесу... Не знаешь, где чихнуть, где охнуть, чтобы не повредить своей же волости... своему роду... Так или нет? - спросил Рахимбай, стараясь угадать по лицам волостных, высоко ли он скакнул.

- Так, так... - недружно ответили двое-трое; другие молча поглядывали на Узака и Жаменке.

- Ну и ну, - проговорил Жаменке. - Залюбуешься, право! Змеиный у тебя язык, Рахимбай. Плынешь, как худой иноходец... Наверное, думаешь, что, если ты уйдешь в кусты с полными штанами, конец свету, некому будет управлять албанами!

- Хромая ты баба, - сказал Узак. - Дырявый человек. Думаешь, один ты знаешь правду? Да ты ее в жизни не искал! Ты пристава знаешь, урядника... И они тебя

знают... примерно как своих баб! Царя испугался? Перекрестись... Кас-па-дын Рахимбаев! Давай пиши списки. Гони джигитов царю в подарок. Твой верх, твоя взяла...Идите все за этим выродком. Чего зря болтать!

Тут-то и услышал волостной Рахимбай свой приговор. Зашумел народ:

- Знаем, почему он так запел, знаем! Всю волость купит-продаст-разменяет... Гнать его в три кнута! Проваливай отсюда... мать твою... дочь твою... Пока не прикончим тебя с домочадцами, ни один джигит не пойдет из волости. А пойдет, так прежде тебя зарежет... И зарежет! Как жертвенного барана!

Такого общего яростного крика, пожалуй, не припомнят распорядители, знатоки обычаев и церемоний на высоких собраниях, в кругу избранных, баев и биев. Всего удивительней было то, что не только Аубакир, славный малый, но и все остальные волостные, все до одного честили на чем свет стоит своего же брата волостного. Смекнули-таки, что им, делать, как себя держать. И не прогадали, потому и

были прощены. А Рахимбай сидел повесив голову, моля аллаха, чтобы ее не снесли.

С трудом утихомирили аксакалы народ - не прежде чем всласть отвели душу все те, кого и не звали на совет - бедняки и молодые. Решили, однако, так: к приставу завтра пойдут не старшие и не волостные, а кто помоложе, похрабрей да понадежней. Избрали Серикбая, Турлыгожу и еще Айтпая.

Затем поклялись в верности на крови жертвенного коня. Жаменке и самые почетные аксакалы именем всех святых рода албан благословили своих соплеменников, и чудилось в те минуты, что все единодушны, как дети одного отца. Огромная толпа, теснившаяся до самой реки, внимала старикам и взывала к духам предков, моля не оставить в беде и в борьбе.

Так было посеяно зерно бунта, одно из тех малых зерен, из которых выросла нива восстания 1916 года, предтечи великой революции.

## Глава третья

С того памятного собрания Узак возвращался вместе с Тунгатаром, своим родным братом, и толпа всадников их провожала.

Тунгатар - богатей, владетельный бай, из самых крупных в роде албан. Его сила в мощне. Полторы тысячи коней выводят на летовки его пастухи. По этой причине старший сын бая ходит в жожаках народа, а внуки верховодят среди молодежи. Боится бай только джута и засухи, но то и другое на Каркаре редкость.

Указ царя для него не бедствие. Он уже побывал у кого следует - и у своих и у русских. И остался доволен: он мог быть спокоен за всех своих сыновей и внуков, равно как и за весь свой скот. А вот Узак и старый строптивец Жаменке его напугали.

Неугомонные люди. Ими бай был недоволен. На них осерчал.

Увидев, как круто обошлись с волостным Рахим-баем, Тунгатар предпочел не открывать рта, но заметил, что брат Узак забирал чересчур большую

силу. Забылся брат - не оглядывался на баев! Такой грех никому не прощается.

Под вечер подъехали они к своему аулу, и тут навстречу подскакал один из джигитов Тунгатара, отозвал хозяина.

- В полдень... как с неба свалились... шестеро казаков... и прямо - к аулу батыра! Обыскали весь аул. Спрашивают: «Где хозяин?» Мы жмемся. «Может, на ярмарке?» А ихний старший, Двухбородый, смеется.

- Так. Понятно, - сказал бай.

- Оказывается, там на ярмарке, все известно: кто чего говорил и как было с волостным Рахимбаем - все!

- Не ори. Это я знаю. К нам не заглядывали, не спрашивали, где я?

- Нет, и носа не сунули! Но в ауле все равно перепугались. Послали меня встретить вас. Надо вам ехать домой или нет? Ваша супруга велела предупредить. Вас и батыра... Вы ему сами скажете... или как?

Бай с усмешкой почесал ус пальцем, украшенным двумя перстнями.

- Этого следовало ожидать. С белым царем шутки шутить накладно. Влепят ему!

Ну да он, кажется, сам хочет, чтобы его проучили. Шибко хочет заработать... по шее от пристава... Я добавлю!

Тунгатар спешился и повел коня в сторону от дороги, кивком головы послав гонца за Узакком.

Неохотно откликнулся Узак на зов брата. Давно уже батыр сторонился бая, тяготился каждой встречей - с того темного, трижды проклятого дня, когда разбилось сердце Узака.

Встречаться им приходилось, но ничего в их душах не теплилось друг к другу, ничего не осталось кровного, братского. Иной раз думалось: а одного ли они рода?

Бай был как бай, корыстен, жаден и жесток, не брезговал и грязными делишками, шкурничал крупно и по мелочам. Все же он таился от брата, прятал нечистые руки, но батыр обычно раскусывал его козни, случалось, заставлял поступать по справедливости.

Всякий раз, когда им надо было встретиться, Узак мучился. Тошно ему было. А Тунгатар делал вид, что ничего не

замечает. Тунгатар богател, а Узак седел из года в год.

Однако сегодня нашла коса на камень. Тунгатар сидел на высокой травянистой кочке, когда Узак спешился около него. Провожающие отъехали, оставив их с глазу на глаз. Солнце стояло низко, люди и кони волочили длинные тени...

Бай дождался, когда брат сядет рядом, сказал, не глядя на него:

- Поешь, как петух! Распустил хвост... Кого ты будишь? Кого разбудил? У пристава на твое кукареканье ухо острее, чем у казаха! Вон уже были у тебя шестеро, обыскивали. Сам урядник Плотников. Слыхал? С кем ты тягаешься? Еще когда все было тихо, мирно, пристав дал тебе хороший урок - три месяца тюрьмы. Это задаток. А сейчас головой рискуешь! Что будем делать без твоей головы? Осиротеют албаны.

Узак тоскливо огляделся.

- И чего ты от меня хочешь? Кого пугаешь? Что у тебя чешется - совесть или карман? Ну, дал мне Сивый Загривок урок, дал... Спасибо тебе за тот задаток. А сейчас?

Лихо всему твоему роду! О чем же ты хлопчешь? Что с того, что были шестеро? Не видел я, что ли, урядника Плотникова! Провалиться мне сквозь землю? Или обабиться? Что велишь брату? Лизать зад Сивому Загривку, как Рахимбай? Не умею я, как ты меня не учил. Стар я переучиваться.

- Вот ты всегда так... - сказал бай, передергивая плечами, будто его знобило. - Вечно лезешь на рожон! Дожил батыр до седин, воевал-воевал, а чего достиг? У царя силища - земля под ним гнется. Неужто с тобой не справится? Против кого восстаешь? Когда одумаешься, остепенишься? Себя не жалеешь, пожалей хоть семью, свою же родню. Позаботься о детях, чтобы не тыкали в них пальцем: вон - косопузые того дурня Узака!

- Уа, Тунгатар... да лишит тебя бог надежды... Издергал ты мне душу, вся в крови от твоей узды. Истоптал ты меня, весь в навозе. Что тебе еще надо? Говори...

- И скажу! Послушай... Я кое-кого пощупал. Ты знаешь, я это умею. Как курицу... хоть самого пристава... Если

малость потратиться... объедем это лихо на тройке! Спасибо аллаху, не обделил меня скотом. Спасти нужного человека - добра у меня хватит. А другие как знают! Клянусь тебе, мигни только глазом -вычеркну из списков на реквизицию кого ты скажешь, кого ты хочешь. Не бойся, не разоримся, посеем копейки - пожнем рубль!

Узак удивленно поднял брови:

- Купить меня вздумал, что ли? Правда, что ли?

- Спасая тебя! Остановись, пока не поздно. Не подбивай, не мути простолюдье. Удержи народ! Мы же первые погорим... Они тебя слушают. Пойдут за тобой хоть к шайтану - к тем калмыкам... Это погибель наша. Лишимся всего! Там я не бай, нищий. Сколько ни выпросишь земли - моих табунов не прокормишь. Раньше всех пропадем мы с тобой - вон сколько у меня скота! Куда его девать? Кому его пасти? Ограбят. Разнесут по костям... Послушай меня, успокой наших с тобой пастухов, моих слуг! Хотя бы и дома, на родной земле, - вдруг зашептал бай, - голытьба разорит нас, если дашь ей волю. Об этом подумал?

- Ты все сказал?

- Да, все. Если ты брат мне, честью рода, памятью наших предков заклинаю тебя!

Это было уж слишком, это кого хочешь взбесит: Тунгатар - и честь рода... священная память предков... Глаза батыра налились кровью.

- Пропади ты пропадом, подлый пес! И как аллах не расшибет тебя громом, а меня осуждает слушать твои бредни... Уйди с глаз моих, двуногая тварь! Не имеешь ты права называться сыном Саурука. Убирайся! И чтоб больше я тебя не видел. Не лезь в мое дело, не стой поперек дороги. Умру - не смей хоронить меня, не позорь мертвое тело. В могилу с собой унесу свое горе, стыд, что ты мне брат. Уходи прочь!

Много лет не видел бай Узака таким неистовым, неукротимым. Батыр дрожал, хватался за кривой нож, висевший на поясе. Вспомнил, видно, былое...

«Его не согнешь, - думал бай. - Ломать этого смутьяна, ломать!»

- Что же, я выполнил свой долг... - деланно ворчливо проговорил Тунгатар, влезая на коня. - Кончено. Отныне мы не братья.

Узак проводил его взглядом, слепым от ненависти. Бай ехал на закат, и на него смотрело солнце, тоже слепое, мрачно-багровое, из-под тяжелого века тучи.

А перед батыром вставал день, который он помнил двадцать тягостных лет и не забудет до смертного вздоха.

\* \* \*

У нее была смуглая нежная шея... На шее петля. Пестрая рябенькая петля волосяного аркана, плетенного в три струны.

Обвисло остывшее, бездыханное тело. Лицо мертвенно бело. Лишь глаза слегка приоткрыты и взгляд живой. Глаза кричат: «Отец мой... отец...»

Она звала его в свою последнюю минуту, и он не отозвался. Он не слышал. Но вот уже двадцать лет, как он слышит... И отвечает ей: «Иду».

Бекей была единственной дочерью. С детства она росла особенной, не похожей на других. Недаром он так любил ее, хотя никогда, а тем более в ту пору, не отличался слабосердечием или особой чувствительностью. Была дочка хороша собой, но были

девушки и краше - не было ее умней. Он гордился ею еще и потому, что Бекей была учена!

В то время буйный Узак, сын покойного батыра Саурука, тоже стал батыром и входил в славу Дочь была ему под стать.

Как водится, Бекей была засватана с малолетства. Жених, сын богатого бая, пошел в своего отца: оба интересовались только скотом, сами почти скоты. А Бекей привыкла к тому, что ее отец, батыр, прислушивался к ее речам. Ей внимали даже аксакалы. И понятно, что она невзлюбила дом глупцов, в который ей предстояло войти. Скромна была Бекей и чиста, но дерзка душой, как отец, и нарушила родительскую волю. Выбрала себе друга по сердцу и уму.

В ясную звездную летнюю ночь, в пору мечтаний и любви, послушалась Бекей веления сердца и пошла за своим избранником, оставив родительский дом. Как ни умна была, ушла не думая, очертя голову.

А может, потому что была умна, она и поверила не в доброту людскую, а в одного человека своего многолюдного рода, в отца, в его дерзость, в то, что он переступит роковой порог, который другие не переступали.

Беда была в том, что умыкнул Бекей молодой киргиз с далеких синих поднебесных гор - Балтабай, сын Манапа. Беда была в том, что было у Узака два брата, и один из них - Тунгатар.

Манап - давний враг Узака и его рода. Взять в жены дочь врага за приличный порядочный калым - значит помириться; умыкнуть ее - значит оскорбить кровно, а это хуже, чем убить. Под горячую руку, не дав сердцу одуматься, а голове остыть, батыр отрекся от дочери и проклял ее.

Опомнившись, он сам себе поразился. Он не хотел плохого дочери. Он ее любил. Тогда вступились братья Тунгатар и Кожамберды.

Бекей - слишком дорогой дар роду Манапа, говорили они, и это была правда. Сами ляжем костями или убьем, сказали братья, и это была подлость. Но в те дни Узак не разгадал ее и не устранился; он одурел от ненависти к Манапу и его сыну, овладевшему Бекей, бесценным его богатством. Батыра побуждали к мести, и он желал ее, не задумываясь, кому же он мстит.

Своенравный, своевольный, а на самом деле уже замороченный братьями, Узак

кинулся в погоню. Подкупил начальство в Караколе. Бекей вызвали в канцелярию.

Иным думала дочь Узака встретить своего отца. Увидев его, она увидела то, чего он еще не видел: свою смерть.

- В моих жилах твоя кровь, отец. Не заставляй меня смотреть в лицо сородичам, - молила она. - Если я провинилась, убей на месте своими руками. Накажи -отними у возлюбленного, отдай за первого встречного, только за киргиза. Не срами перед своими.

Узак согласился, дал слово на Коране. А Бекей подписала дурацкую бумагу, что отрекается от любимого человека... Но, заполучив дочь, Узак, не долго думая, привез ее домой, в свой аул.

Он обманул и предал ее. Обманул и предал самого себя. Он был не так умен и не так учен, как его дочь.

Тем временем его проклятие действовало. Бекей сгорала, таяла на глазах. Маленькая, прекрасная, невинная Бекей... Она онемела навек и дрожала, как ягненок, которого хлестнули кнутом по глазам.

Скрипя зубами, Узак стучал себя кулаком в грудь, потому что в ней опять было сердце,

а не бездушный черный камень. Вдруг ему пришло в голову, что он не спас, а погубил свою дочь, что она несчастна, как это говорится в книгах, в песнях. Он ужаснулся тому, что натворил, может быть, впервые в жизни почувствовав жалость и сострадание к женщине.

Братья Тунгатар и Кожамберды ходили за ним по пятам, дергали за полы. Тунгатар изощрялся в громкословье. Позор, говорил он, клеймо на весь род. И пугал карой божьей. Узак презрительно кривил рот, слушая его. Но Тунгатар поднял своими воплями на ноги спящих и хворых. Вся родня ополчилась против Узака. Лживые блюстители чести обложили его, как волки одинокого путника в степи в голодную зиму. Остался батыр один. Никто его и слушать не хотел.

Вот когда понял Узак, как смела и высока душой его маленькая Бекей, и как он труслив и низок. Кровь отца, батыра Саурука, вскипела в жилах Узака.

- Не выдам. Не покорюсь! - сказал он дочери.

И опять он ошибся в своей силе, как ошиблась в ней Бекей.

Подстерегли подлые люди, когда он уехал на часок, пришли к нему в дом и повесили Бекей под куполом отчей юрты, на пестром аркане, плетенном в три струны. Сделал это Тунгатар со своей бражкой - на глазах у родной матери, цеплявшейся за его мохнатые руки.

Мать слегла после этого и не скоро поднялась. Свалился и брат Кожамберды в неведомом припадке. Когда же пришел в себя, замычал, завыл, перестал отличать пшеничные лепешки от лепешек кизяка, выплевывал хлеб и ел навоз, прожил так год и так умер.

Лишь один Тунгатар пошел в гору, раздался брюхом и задом, и вместо одной у него стало три шеи.

\* \* \*

Каждый раз, когда Узак мысленно уходил в прошлое и видел Бекей в петле, с чуть приоткрытыми живыми глазами, ему словно

стреляли прямо в сердце. Тысячу раз оно было прострелено.

И все же он шел туда... и смотрел в глаза Бекей... И жадно, до тягостного болезненного опьянения пил всю горечь, весь яд своей вины, своей неизлечимой раны. Чуждые в молодости, а сейчас сладостные, преступно нежные слова скребли ему душу ибо то было его любимое дитя, его ласточка, горлинка, невинная, святая.

Вот земля, которая ее родила, выкормила и в которую она ушла. Вот аул, свидетель ее последних дней. Это место названо Танбалытас - Меченый Камень. Не смыть с него клейма.

Северней аула есть утес, черный, с проседью, как борода Узака. Утес тянется вон к тому красному сосновому бору, стоящему на небесном пороге, на краю света. К утесу часто уходила Бекей, будто к отцу. Возвращалась увядшая, сухая, как опавший лист.

Бродила она и под соснами по вечерам, в сумерках, когда сосны выцветали и меркли, как ее юная душа. Но так и не смогла, как хотела бы, уйти от аульной лужайки, посреди которой оголились серые пятна

глины, похожие на струпья паршивой головы.

Печаль Бекей несла в себе и речка, узкой лентой сползавшая в Каркаринскую долину подобно длинному плетеному аркану. И невзрачные, безжизненные солончаки на закате. И обшарпанные ветрами, унылые зевы оврагов, похожие на огромные западни.

Повсюду жила мука Бекей, безмолвная, неистощимая. Близ юрт мерцали вечерние огни очагов, и в них была тоска ее сердца. Куда ни посмотришь, видишь ее ранние быстрые морщинки.

И нигде не искры ее растоптанной потушенной гордости.

«Проклятое время... проклятое место...» - думал Узак с застывшим, страдальчески искаженным лицом, согбенный, как будто у него сломали позвоночник.

Что изменилось за минувшие двадцать лет? По сей день по земле Бекей ходит ее палач, мохнатый тарантул в образе человека, раб наживы. Ходит и рвет с корнем, выжигает огнем редкостный дар Бекей, каждый его слабый новый росток... Ходит, и судит, и приговаривает, и казнит, и клянется честью рода и тенью предков, помахивая

ими, как петлей аркана, плетеного в три струны.

Он извел бы родную мать, праматерь своего рода, если бы они угрожали его табунам.

И еще думал Узак о том, что, видимо, он сдает, притомился за эти двадцать лет, стал туговат на ухо, плохо слышит голос Бекей, зов Бекей, завет Бекей, ее последние слова: «Отец мой... отец...» А вот Тунгатар не старится и не слабеет, он многолик, многорук, его табуны множатся, его власть возвеличивается.

И, подумав так, батыр застонал, поднял глаза к небу, прося дать ему новую силу и взять взамен его жизнь.

«Я готов, бери меня... Но - как хотела Бекей! Чтобы мне там, перед ней, не гореть от стыда. Возьми меня жертвой за народ! Жертвой за народ... Милая моя, понимаю - не зря явилась твоя тень. Иду! Иду догонять тебя. И догоню, догоню...».

Двадцать лет он винился перед Бекей. Теперь он хотел бы большего - оправдаться перед ней. Возвыситься до ее мужества и

мудрости, которых у нее, женщины, было больше, чем у мужчин рода албан.

Повернувшись лицом к западу, он совершил молитву. Он молился за душу Бекей, а может быть, втайне и ее духу, как духу предков, высшей святыне для степняка, равной самому богу.

Потом пошел вниз, к аулу. Конь шел следом.

Была уже глубокая ночь.

## Глава четвертая

Назначенные приставом три дня прошли. Но так ли все было, как он задумал? Когда же всполошится смирное племя, побежит, повалится в ноги, примется молить, совать деньги, скот, все свои животы? Похоже, что этим и не пахло.

Что же там деется, что варится на их хваленых летовках?

Добрый толмач Оспан притворялся, что ему стыдно за земляков, вздыхал виновато, - глядел скорбно, стараясь показать, как он подавлен и угнетен. Пристав отворачивался от него.

Было у него иное ухо - им он слышал каждое слово, оброненное за десятки верст от канцелярии. Рахимбай днем и ночью слушал, где что говорят, и доносил приставу. Прибывали еще лазутчики неизвестные, от безымянного лица, но Сивый Загривок хорошо знал его имя - умнейший бай. Недавно привелось с ним приятно беседовать, и он первый из немаканных сподобился, отметил беседу надлежащим

образом -ассигнацией, достойной царского указа!

Уму непостижимо, что брат этого бая - главный подстрекатель и смутьян. Не выучили строптивца даже три месяца тюрьмы, назначенные ему по-братски, по совету бая.

Пристав привык ощущать себя божком среди всеобщего подобострастия. И разве не был он идолом в этой дикой степи? Сейчас он не мог понять бесстрашия перед ликом своим. Он был оскорблен.

Первым побуждением было схватить вольнодумца немедленно. Следователь и урядник удержали его.

Это, видите ли, было бы рискованно. Упаси бог, как они стали осмотрительны! Спору нет, они упрятали бы за решетку, выслали бы по этапу каждого пятого из тех, кто шумел против указа государя императора. Но это, видите ли, было бы превышением власти. Вон какие мы скромные, малые ярмарочные чины...

Доносы шли и шли. Соглядатаи являлись в холодном поту. Послушать, так взбунтовалось все племя, весь народ, степь

горит. И прежде указа накопилось достаточно обид, а нынче переполнилась чаша. Об этом никто не говорил открыто, но думали про себя все.

Худо было уже то, что народ вдруг ушел с ярмарки, точно по тайному сговору, как по сигналу. Это, господа, разбой и воровство среди бела дня. Это именуется одним непроизносимым политическим словом - демонстрация!

Однако следователь долбил свое:

- Аккуратность и еще раз аккуратность! В такой вот именно момент брать жоака было бы неаккуратно.

Ошибемся, очень ошибемся. Лучше воздержаться. Наделаем беды. Сам по себе арест, как правило, возмущает... В такой вот именно атмосфере недурно бы вменить в обычай уговоры... пожалуй, и ласку... Пастух падок на ласку.

- Все равно брать его придется. Без этого нельзя, - сказал урядник. - Да это дело от нас не уйдет. В свой срок...

- Будь по-вашему, подождем, - ответил пристав с усмешкой превосходства. - Хотя и непорядок, господа... Арест на то и есть

арест, чтобы пре-се-кать-с! Всякий пыл да раж у степняка мигом проходит, ежели прижмешь к ногтю главаря. Без своей седой головы пастух - овечка. Вот именно какой у меня был расчет - куда уж аккуратней!

- Совершенно справедливо, - согласился следователь. - Степняк горяч лишь поначалу. Покипит, побулькает - остынет. Войдет, как говорится, в берега. Возьмет верх, разумеется, не Узак... а его братец - весьма аккуратный деятель! Равно как и наш любезный Рахимбай. Поэтому следует им всемерно способствовать. Не следует им чинить помехи.

- Да-с! Это, слава богу, я и делаю, - проговорил пристав. - Вот что, Плотников, сделай милость, возьми-ка ты, друг мой, полдесятка нижних чинов и - к нему в аул с обыском собственной персоной. Для почина этого довольно. Но чтобы там у меня - ласково! Понял?

В эти три дня пристав был грозней обычного, пыжился перед чиновниками больше, чем перед толмачами, скрывая от них и от самого себя страх. Бранью, угрозами

показывал Сивый Загривок, что существует и властвует.

Он хватал единого незнакомого путника, забредшего на базар, вырывал его из рук купцов и давал своей душеньке волю, отбирал коня и вертел кулаками перед реденькой черной бородкой:

- Казах? Албан? Шпион? Закатаю! Упеку!

\* \* \*

Настал день четвертый, день ответа. Этого дня ждали все. О нем только и думали у аульных очагов и на пастбищах. Ответ будет всем известный, простой-понятный. Стало быть, так. Так оно и будет.

Но... как же все-таки оно будет? Нелегко было вообразить себе, как придут обыкновенные смертные, пастухи, и скажут супротивные слова... Кому? Сивому Загривку! Разве так может быть?

Говорят, надо держаться всем миром, душа в душу, стоять стеной, как будто у всех албан один общий воротник, общий рукав. Тогда оно так и будет. Надо думать, будет...

И вот с утра множество людей двинулось по девяти дорогам к ярмарке. Поднялись все, кто мог сидеть верхом, стоять стеной.

Съезжались со всех летовок: с Донгелексаза, Коктебе, Кокбулака, Сырта... и с Лабаса, Акбеита, Туза, Кегена... С горных лугов, по ущельям и лощинам текли на Каркаринскую равнину толпы и толпы всадников. Толпы и толпы клубились куда ни глянешь, на всех скатах и кручах, как кучевые облака перед июльской грозой.

Казалось, сами горы, скалистые и снежные хребты вдруг разверзли свои древние недра и сыпали и сыпали из таинственных глубин в зеленую долину людей на конях. Шло племя бесчисленное нескончаемым, буйным, многоструйным потоком. Шел народ конный, непоседливый, народ необъятной, бескрайней суровой степи.

До ярмарки пока что не доходили, задерживались на просторной возвышенности между ярмаркой и аулом Узака. Тут обычно справляли мусульманские праздники. Это место называлось Айт-Тобе, что значит Молитвенный Холм. Оно

притягивало к себе всадников, точно магнит. И скапливались, распухали здесь толпы, сливаясь в единое, огромное, живое целое, и снизу, из ярмарочной долины, казалось, что на холме выростал высокий дремучий темный лес и его раскачивал гулкий ветер.

На Айт-Тобе уже приехали Узак и Жаменке. Здесь и Серикбай и Турлыгожа. Многие спешили, коней привязали к живой коновязи. Сидели, подобрав под себя ноги, ждали. А к ним подъезжали, все новые и новые всадники. Иные подлетали, гарцуя на разгоряченных конях, поднимая их на дыбы. Но большей частью ехали степенно, нестройными текучими рядами, сдерживая коней, грызущих удила.

На Айт-Тобе особый подвижный порядок. Первыми сюда прибыли встречающие. Их много. Держатся они парами. На сильных резвых конях. Они поспевают всюду, а их кони не перестают дергать головой, прося воли... И видно, как довольны прибывшие, когда их встречают чин чином. Значит, здесь все ладно, все по-хорошему.

Довольны и встречающие - отовсюду люди скачут к ним, на Айт-Тобе.

Время шло к обеду. Издалека собирались. Много собралось. Людей, коней - сила! Солнце стояло в зените, огненное, нещадное.

Выделялись люди с летовки Донгелексаз, самой дружной. Их привели старый Хусаин и дерзкий малый Картбай, выпущенные вчера из ярмарочного узилища за сто двадцать рублей!

Был с ними и Кокбай, рослый, щербатый, с маленькой бородкой джигит на длинном коне. Он щурился на солнце, подмигивал знакомым и незнакомым, смеялся:

- Бывало, на ярмарке, на том тухлом базаре, сойдутся человек пять-десять купчишек и мнят о себе, что их много! Пусть теперь на нас попялятся, будь они неладны. Кого хочешь сметем - так говорю, аксакалы?

Ему ответил Картбай, с удовольствием осматриваясь:

- Поздравляю, брат. Желаю успеха. Вижу, албаны тут все, как один! Дай бог...

И с разных сторон полетели и сплелись в узел голоса:

- А как же! Так оно и должно быть, если мы зовемся народом... Держись теперь, господин пристав!

- Ну, и ну... сколько нас, братцы! Небось начальство не знает, куда ему деться.

- Попрячутся сейчас в норы. Гляди орлом! Не робей.

- Как пойдём, разбежимся - затопчем! Гуляй, народ, веселей, дружней!

В голосах стариков звучала давно не испытанная гордость, в голосах молодых - желанная удаль.

Молодые, как водится, зубоскалили, но не над сверстниками, как обычно. Сегодня шел иной разговор - под дружный, злорадный хохот.

- Эй, Кокбай, скажи про начальство! Как оно сидит на ярмарке?

- А так. Вылупив глаза, с полными штанами.

- Эй, Кокбай! Как же оно будет тебя допрашивать?

- А так. На бегу удобряя землю.

- Еще чего - допрашивать! Вон нас - тьма. Всех не допросишь.

- Пусть меня допросят. Только и слышишь: царь да царь. Будто я царя испугался!

- Гнать их в три шеи. Сколько нам терпеть этого Сивого Загривка?

- Перво-наперво - ярмарку! Всех обираловых! Нажрались - хватит.

- Постой, постой. Эй, Кокбай, а ты еще не купил себе табачку пожевать, не отведал манты...

- Скажи: не отведал урядниковой плети! Неподалеку, соперничая с Кокбаем, озоровал другой, рыжеватый молодой парень по имени Жансеит, то есть Милый Сеит. Он потешался над купцами.

- Теперь не стану платить за табак. Возьму табак и так. Отберу.

Его окликали любовно-насмешливо:

- Жансеит, а Жансеит! Как это ты отберешь? А он обидится - купчина. Почитай, мы с ним приятели давние...

- То-то что давние. Я этих приятелей еще в животе у матери обещал обидеть!

Такое обещание шумно одобрили.

- Жансеит, а Жансеит! А как ты их обидишь? Какого купца ты больше любишь - ташкентского или казанского?

Рыжеватый хрипло прокашлялся.

- Ташкентского не трону Потому что нужны манты. Без них я скучный. Скажу: сиди тут, вари свои манты. Ослушаешься - бороду сожгу.

- А казанского?

- Казанскому скажу: у тебя глаза зеленые, нос острый. Ты мне бесполезный. Останешься без царской службы - придется тебе кочевать, а ты купец, какой из тебя толк? Иди-ка ты к своим господам прислуживать, как привык! И залейся ты хоть маслом - тебя не возьму. Вот что скажу Огрею разок плетью и прогоню.

Опять смех.

- Жансеит, а Жансеит! А что ты сделаешь с ихними бабами?

- Какими еще бабами?

- Ну, к примеру, с этой... толстухой... господина пристава?

- А отведу я ее вон за ту скалу, три дня поморю голодом, она и забудет своего пристава и своего бога! Похудеет - отдам во вторые жены Жаменке, аксакалу. Пускай греет ему воду для омовенья.

Хохот, свист, гам... Чистый топот копыт сливался в сплошной громовый гул. Сквозь

этот гул и не расслышишь голосов. Переспрашивали, кто что сказал, кто что ответил, и покатывались со смеху, валясь животами на седла. Вдруг срывались и с пронзительным шальным гиком, с визгом пускались вскачь. Скачки короткие быстрые, но они зажигали кровь, взрывали душу. И люди хмелели от того, как вольно дышали, как дружно держались, и от того, что их становилось все больше и больше. Возник было беглый говорок о том, что шестеро, из них один Двух-бородый, обыскивали аул батыра Узака... Там были шестеро. Здесь тьма!

В полдень весь Молитвенный Холм и пологие подступы к нему кишели черными шапками, как невиданный муравейник высотой до неба. В один неуловимый миг он неожиданно странно стих, словно бы замер. Потом сдвинулся в небе, как мираж, и медленно, тяжело пополз всей своей волнистой шевелящейся массой вниз, к ярмарке, туда, где на высоком шесте полоскался белый флаг с двуглавым орлом.

Пошел народ. Двинулось смирное племя. Ехали молча, неторопливым шагом. Кони тянули головы к траве, словно паслись. И

топот копыт как будто приглож. Он не гремел, а стелился. Ни крика, ни свиста, ни смеха. Лишь переглядывались исподтишка, мельком, как бы говоря: идем, идем!

Но было в этом молчании, в этом покое небывалое грозное согласие, сила самой степи, самой земли. Казалось, надвинется это тихое шествие черных шапок и сотрет ярмарку, как медленный сель.

\* \* \*

С утра все, кто был в канцелярии, не спускали глаз с Айт-Тобе. И никто уже не скрывал страха перед тем, что видел.

Пристав и другие чины тайно укрыли свои семьи в двух домах. Их прятали даже от толмачей. Вооружили всех, кого было можно. Толстуха жена пристава взяла наган. Посадили казаков, солдат на коней. Не велели слезать... И заявил пристав во всеуслышание официально, что предпринял надлежащие меры!

Следователь, выслушав его, усмехнулся четырьмя глазами и поступил по-своему. Вытащил из канцелярии наружу большой черный короб с круглым совиным глазом

спереди и поставил его на высокий желтый треножник около крыльца. Короб был гладкий, черный-черный, как камень Магомета на святом месте...

Пристав встречал гостей кулаком. Следователь хотел заглянуть албанам в самую душу...

Толмачи жались к начальству до последнего часа, били хвостами, как аульные псы, и, упреждая урядника и пристава, покрикивали на тех немногих казахов, которые жили при ярмарке, однако держали ухо остро. Еще поутру и Обиралов, и добрый Оспан отослали своих жен и детей в близлежащие аулы словно бы в гости.

Простых людей сторонились. Только избранным, кого считали посметливей, внушали:

- Это добром не кончится. Наедет карательный отряд. Кровь прольется... В Жаркенте стоит войско. А в Караколе пушек да ружей... как мух на базаре!

Обычно каждое такое слово летело пулей в аулы и разило наповал. Сегодня оно упало под ноги, как козий горошек.

Когда пошел народ с Айт-Тобе, казаки выехали навстречу. Пристав послал их - испробовать, что будет. Но тщетно они кричали, замахивались плетьюми и хлестали ими воздух, как бы промахиваясь. Народ шел и шел, будто и не было перед ним казаков, а те, вертясь на конях, пятились и пятились. Это походило на игру: огромные толпы черных шапок и перед ними - одинокие чубатые плясуны на конях.

Толпы делились по волостям. Уже на виду у канцелярии два бородача подскочили к черным шапкам, которых вел волостной Рахимбай.

- Стой! Куда прешь? Не велено всем...  
Давай одного выборного! Осади!

И Рахимбай еще раз испытал судьбу.

- Спешиться! - выкрикнул он сдавленно.

И стал слезать с коня. За ним следом слезли с коней несколько его приближенных.

Никакого уговора на этот счет заранее не было. Но видя, что волостной и его свита спешили, люди его волости сделали то же самое. А видя, как спешиваются эти, и думая, что так и надо, стали слезать с коней люди,

которых вел Аубакир. И дальше - люди других волостей...

Движение застопорилось и остановилось. Люди и кони сгрудились, стеснились. Тогда Рахимбай и его приближенные стали привязывать коней - это напрашивалось само собой... И все кругом принялись привязывать коней, оставляя при них коноводов.

И сразу словно бы тысяча богатырей стала тысячей карликов. Огромные толпы черных шапок, спешенные, потеряли свое грозное обличье. Сами себя унизили...

Пристав и другие чины, стоявшие на крыльце канцелярии, ободрились. Казах пеший уже наполовину не казах. Так и ждешь - сорвет с башки черную шапку и примется мять ее в руках.

Истинно генеральским жестом пристав послал урядника с толмачом Жебирбаевым туда, к просителям, ибо то, что они слезли с коней, уже означало подчинение, означало, что они просители.

У бравого урядника сосало под ложечкой, однако приходилось соответствовать начальству.

- Осади! Не шуми! - начал он, подъезжая, с высоты своего седла. - Кто тут у вас за аблаката? Пра-шу... к его благородию!

Люди стояли опустив головы.

- Есть три человека, - вдруг громко сказал Турлы-гожа, выступая вперед, - выбранные народом! Они пойдут... скажут слово народа... Но и мы все пойдём, все! Сами послушаем, что скажет пристав. Так, что ли, народ?

И тотчас над толпами взмыло и раскатилось могучее эхо:

- Все-е-е!

- Стой, не напирай, стой... - забормотал урядник, с трудом усидев на отпрянувшем коне. - Нельзя, не велено...

Куда там! Ожили черные шапки.

- Народ тебе не собака... гнать! Сказано - пойдём...И пойдём, отчего же не пойти? Власть не должна скрываться от народа. Пошли все! Пошли!

И пошли пешие, а урядник поскакал перед ними таким бешеным и таким коротким галопом, будто нарядился скакать на месте, смешить людей.

На крыльце канцелярии не то вздохнули, не то ахнули хором. Мгновенный общий порыв - бежать!

- С ума посходили, - зашептал пристав сквозь зубы. - Держитесь, черт вас подери... Не подавайте виду.

- Да, да... - подхватил тучный судья, пыхтя и отдуваясь. - Будто не замечаем... ничего не случилось... Ведите себя, господа, бога ради... как подобает государственным мужам...

Лишь один следователь, поправив на носу очки, храбро сошел с крыльца и встал около своего короба на треножнике.

Выпятив туго перепоясанный живот, ибо толстый живот в степи уважают, опираясь на рукоять сабли, висящей на роскошной портупее, которой не побрезговал бы и столичный полицмейстер, пристав уставился на вал черных шапок взглядом удава. Право, он походил на героя, готового взглядом остановить лавину.

Но напрасно он тратил силу - на лицах казахов не было ни следа страха и смирения, которые он так в них любил. Будто с цепи сорвались! Смотрели на него как на равного...

Смотрели насмешливо. Смотрели строго. Ужасно смотрели... И Сивый Загривок почувствовал, как его начинает пробирать дрожь. Хотелось попятиться, пригнуться. Еще минута, секунда - и он не выдержит, заскачет на месте, как Плотников.

Почувствовали это и другие, прежде всего толмачи. Кажется, наступал момент, когда лучше слегка отодвинуться от его благородия. Сейчас при начальстве, у крыльца, были только Жебирбаев и лекарь Жарылгап. Добрый Оспан уже исчез. Его нигде не видно.

- Я начинаю, - сказал следователь и нырнул под треножник; накрыл голову бархатным покрывалом и тихонько двинулся вместе с черным коробом, круглым глазом вперед, прямо на толпу черных шапок.

Гром не грянул, но из-под бархатного покрывала высунулась белая рука, на ощупь схватила тоненький черный хвостик под коробом, раздался щелчок, и глаз спереди единой мигнул. Это все видели, все слышали.

И побежал, побежал черный короб на человеческих ногах мигать глазом вдоль фронта черных шапок...

Потом только об этом коробе и говорили. Будто бы в нем волшебное стекло. Глянь - увидишь, что было... И, конечно, что будет!

А сейчас - черные шапки замялись, затоптались, отворачиваясь. Люди незаметно поплевывали себе за ворот, чтобы отогнать злого духа, бесовское наваждение. Сглазит - умрешь в адских муках!

Остановилась толпа. Онемела. Застыла, как рысь, когда ей на голову накинута черная мешок.

И тут же отыскался Оспан, выскользнул из толпы и встал перед крыльцом как ни в чем не бывало.

- Говори, кто такие! - рявкнул пристав, хотя коленки у него тряслись. - Кого вы там выбрали? Их первых пере... пере... - В глотке у него булькнуло, он выдохнул всем брюхом: - ...ю-у!

- Салем всему собранию... - перевел мудрый Оспан. - Где ваши выборные? Слушаю!

Это «салем» вызвало недоумение. Из задних рядов кто-то крикнул:

- Сказано вам: выбрали троих. А кто выбран, уже вы-то знаете! И пусть толмач не врет.

- Ваше благородие, - перевел Оспан. - Позвольте сказать троим.

- Трое так трое, - кивнул пристав. -

Выходи! Серикбай, Турлыгожа и Айтпай вышли вперед. Тут же черный короб

приблизился к ним и встал на

треножник сбоку, со стороны Серикбая. И пристав, и тучный судья невольно улыбнулись, заметив, как дрогнул Серикбай. Привлекательное его лицо с красивой бородкой порозовело, словно у девицы. Губы так и тянулись к вороту, беззвучно шевелясь, - жутко было бедняге!

Пристав ткнул в него пальцем.

- А ну-ка, ты... что скажешь? Ка-ак тебе пришелся царский указ? Говори...

Серикбай так и не сумел овладеть собой. Досадовал, что не озлился, а оробел. Хотел сказать гневно, а сказал жалобно, запинаясь, волоча слова, как камни:

- Трудно это народу... отдавать джигитов! Тяжко это народу. Кровное это дело... касается всего народа... Да вот народ! Пусть сам скажет... - Серикбай повернулся к толпе и напряг голос: - Отдадите вы джигитов?

- Не-ет! Не-е-т! - зашумели черные шапки. Пристав видел враждебные лица, огненные взгляды.

Но заметил он и другое - подавленность, сомнение, смятение в одном, другом, третьем...

Турлыгожа, смущенный тем, как растерялся Серикбай, испуганный тем, что, может, и сам не справится, замямлит и подведет, вдруг возмутился самим собой. Кровь загорелась в его жилах. Он крепко взял своего друга за локоть и без церемоний отстранил.

- Нет, не так... не так нам доверил сказать народ! Голос его был зычен и звонок.

Голос как труба. А

слова, как оплеухи. Невозможные слова...

Пристав сунулся было к краю крыльца - оборвать, одернуть. Судья с деланной кривой улыбочкой удержал его.

- Простой народ грубеет душой, - говорил Турлыгожа все более свободно и смело, - ярится народ, когда царь своей царской властью попирает справедливость. Правил нами царь, правил... мы молчали... Но этим своим указом он нарушил свое царское слово. Еще не прошло полвека, как мы вошли в Россию, с охотой вошли. А царь обещал не брать джигитов в свою армию раньше чем через полвека. И еще обещал не брать налога больше рубля двадцати копеек с юрты. А сейчас? Берет! Обложил всех казахов от двадцати одного года до сорока пяти. Обложил, как данью, как тот калмыцкий хан! Это второе. А потом землю отобрал, с обжитых мест выжил. Отнял воду у народа! Это третье. До чего дошел? Продает царь нам же наши земли. Мы у него пасынки! Потому и злится народ, грубеет душой. Мы недовольны обманом. Большой обман! Думали все же, надеялись сердцем: поправится царь, поймет, как обидел казахов... Должен, царь держать свое слово. Чего же дождались? Указ! Реквизиция! Великий обман! Кончилось наше терпенье. Кончилось наше молчанье. Со дня этого

указа не верит народ царю! А вам, господам... толмачам... купцам... и подавно. Никому не верим. Если такой указ... слушайте слово народа: не дадим джигитов!

Турлыгожа поднял руки, и тысячные толпы, заполнившие ярмарку от канцелярии до ближних лугов, подхватили во всю мощь, во всю ярость мужских голосов это слово:

- Не дадим джигитов...

Никогда еще за двадцать лет жизни в степи Сивый Загривок не видывал и не слыхивал такого. И никто не видывал и не слыхивал.

Теперь пристав не замечал ни в ком ни тени сомнения. Черные шапки задвигались, стали напирать, тесня урядника и тоненькую шеренгу казаков и солдат на конях, толмачей и служащих. Там и сям взлетали над головой смуглые кулаки. Повсюду слышна крепкая ругань. Канцелярия, окруженная с трех сторон, казалось, была схвачена за горло.

На маленькую пыльную лужайку, на которой стоял Турлыгожа, вышел серый человек, босой, в заплатанном чапане, ведя тощего вола в поводу.

- Кто согласен отдать джигитов, - сказал он, - того вот этим зарежу. - И вынул из-под

полы длинный нож с черной рукояткой и ясным лезвием. И показал нож приставу.

Турлыгожа обнял бедняка. И другие стали его обнимать. Пристав стоял ни жив ни мертв, делая, однако, вид, что все это ему нипочем.

- Ну, так вот, - сказал Турлыгожа, дождавшись когда народ поутихнет. - Пусть царь берет скот, как брал, но не джигитов. А если уж и впрямь нельзя царю обойтись без наших молодцов - так и скажи... Пусть будет так. Но пусть будет честь по чести! Тогда дай в руки джигитам оружие. Дай коня под седлом, дай ружье, дай патроны. Одежду-обувку, ремень... и вон тот погон, как у казака... Мы не хуже его конники! Это не дело - идти на войну с голыми руками. На позор-поругание, губить ни за что не дадим джигитов. Дай оружие! Шапку с кокардой! Вот чего народ хочет.

Эти слова понравились больше всех других. Очень пришлись по душе эти слова.

Турлыгожа закончил. Начал было говорить и третий выборный - Айтпай, но его не стали слушать. Гул голосов прокатился над толпой. Заговорили сами с собой, яростно выкрикивая, повторяя слова

Турлы-гожи, такие простые, такие ладные: дай ружье! дай коня! ремень! погоны! шапку с кокардой! мы не хуже твоих казаков! ты бери, бери людей, но честь по чести! что же мы, пасынки?

Чем дальше, тем жарче разгорался огонь этих слов. Вскипала, взрывалась в этом огне, подобно влаге на пожаре, давняя горечь, давняя обида, светились, как угли, глаза, вспыхивали бешено оскаленные зубы. Горело сердце у смиренного племени.

Начальство застыло, окаменело. Стушевался и отважный следователь со своим спасительным черным коробом. Он в толпе, его не замечают. Ему надоело и собственное фиглярство, и бездарность, беспомощность господина пристава.

Пристав, тяжело опершись на перильца крыльца, склонился к судье. Судя по их лицам, они держали совет государственной важности. Судя по губам, пороли чушь для отвода глаз.

На минуту пристав повернулся спиной, перекрещенной ремнями, к черным шапкам. И тут Жансеит, растерявший в сутолоке

своих сверстников, взыграл духом, руки у него чесались.

- Огрею я его, сукина сына, плетью по заднице! Вывернулся из толпы, вскочил на ступеньки

крыльца и уже замахнулся было своей нарядной черно-белой камчой... Старики стащили его назад.

- Ой, сынок! Ты что? Подожди, милый. Придет время. Тогда и огреешь... Лежачего, милый, не бьют...

Но по глазам их Жансеит видел, что поспей он, да вмажь сплеча по господской, жирной спине, никто бы не упрекнул его. И еще видел Жансеит, что достань он сейчас пристава плетью, ничего бы от начальства не осталось - ни ремешка, ни пуговицы на память его толстухе.

- Жаль, жаль... - смешливо сокрушался Жансеит, чувствуя, однако, что свое дело он сделал.

На глазах у всех он поднял руку на недосягаемый поднебесный чин... А уж то, что старики помиловали его, - на то они и старики.

Рухнул степной идол - Сивый Загривок...

Вон он будто бы еще стоит вполоборота, таращится, крутит ус, словно думает свою важную думу. А ведь он уже пыль и прах... Этот человек - ничто перед народом, перед его словом, перед его сердцем.

И стали черные шапки покачивать головой, пощелкивать языками и посмеиваться вслед за веселым рыжим Жансеитом, безотчетно радуясь своему великодушию и не догадываясь о своей безмерной наивности. Что было задумано, то было сделано. Они сказали свое слово, сказали, как хотели, вольно, буйно. Так же они скачут на коне, так пасут скот, так оберегают его от волка. А дальше - как бог даст. Теперь скажите вы, как умеете...

И стали черные шапки почесывать затылки да подтягивать кушаки, поплевывать да расходиться. Искали коноводов, разбирали коней. К предвечерней молитве - как вымело, почти никого не осталось на ярмарке.

Волна гнева, поднятая так легко и, казалось, готовая все сокрушить, так же легко отхлынула и растеклась.

## Глава пятая

Горы. Жгучее солнце, холодные воды... На западе могучий хребет, скалистые его плечи круты, а на его груди - раздольные луга, белопенная речка; близ нее длинные ряды юрт - на зеленых буграх и у самого берега, врезанного в обнаженный камень.

Это летовка Донгелексаз, аул Серикбая. Повсюду кругом, за хребтами и ущельями, такие же луга, такие же аулы. С весны весь род албан был на этих высотах. Но аул Серикбая выше всех.

Над лугами сосновые, дремучие боры, похожие на насупленные мохнатые брови. Но местами сосны, редая, клиньями сбегают с вершин к лугам, и тогда они смахивают на редкие бороды, точь-в-точь как у казахов. Русла горных ручьев, сухие и влажные, рассекают кручи, напоминая чистые мягкие морщины. Вдоль них всползает зелень лугов; она чем выше, тем нежней, и горит, как румянец на смуглой каменной коже. Лицо гор мужественно и моложаво.

За темной чертой хребтов и вершин ясно синеют леса и скалы дальних гор, а за

дальними белеют под облаками уже седые головы, снежные шапки. Ниже, там, где стоят в обнимку две зеленые вершины, точно в синем тумане, брезжит богатырский бок Кулык-горы.

Краток вечер в горах. Но и его резкие быстрые тени не сразу гасят зеленый огонь лугов. Бледно розовеют кроны старых сосен за аулом. В густой хвое протяжно вздыхает студеный вечерний ветерок. Под соснами уже темным-темно. А в ярком небе все еще кувыркается и звенит жаворонок, мечется, стреляет над лугами неумная пустельга. Дружно поют за холмом мальчишки - юные чабаны.

Куда ни глянь - табуны да отары. Овцы забираются дальше всех, пасутся тесно, не разбредаясь, и их так много, что издалика кажется - они клубятся, как облака. Кони разномастны и ходят вольней.

По вечерам, когда пустеют пастбища, голос аула возносится до лесов и гор, заглушая летний гром реки.

Овцы возвращаются раньше всех; их уже подоили, они жмутся к аулу. Стелется низкое бляенье крупных овец, взлетает тонюсенький

дискант козлят и ягнят. Послушать их - в ауле бедствие, повальное жалобное моление. Мычат коровы, завидев своих телят, ржут жеребцы, отменные табунные певцы. Иной залетит на самой высокой, яростно звонкой ноте и закончит могучими короткими хрипами, похожими на рыканье.

Женщины ласково зазывают коров. Повелительно покрикивают мужчины. Слышны слабые, но властные голоса старцев, они советуют, одобряют, порицают. Брызжут всплески детских голосов, лепет, визг, смех и плач.

Ну и, конечно, лай собак. Он стихает позже всех других, а то и совсем не стихает. Интонации совсем человечьи. Отчаянно нежно скулит обиженный щенок, сварливо брешет злая сука, нахально - молодой, достойно - старый кобель. Они отзываются на каждый шорох и шелест в степи, в юрте, в загоне, они встречают и провожают людей. Едва подаст голос один пес, поднимаются на ноги все. На пороге ночи, когда вспыхивают очаги, разгорается оголтелый, оглушительный лай. Собаки распаляются от огня, и их не угомонить. Они кричат

человеку, овце, коню: не бойся темноты, мы начеку

Есть своя гармония в жизни аула. Но вся прелесть аульного бытия открывается по вечерам. Это час слаженной кипучей работы, завершающий медленные труды долгого летнего дня, когда в ауле безлюдье и скучная тишина. К вечеру и горы и луга оживляются, как бы стряхивая с себя знойную ленистую одурь. Небо дышит прохладой, а в руках все горит. Голосист и многоязычен вечерний аул. И людно, и тесно, и шумно в ауле, как на ярмарке...

\* \* \*

Однако как далеко отсюда до ярмарки!

Странная жизнь пошла здесь с некоторых пор, тянулась уже вторую неделю, и не видно было ей конца. Молодые гуляли, хмельные от кумыса, не расседывали коней ни днем, ни ночью. Старики сокрушались, глядя на их праздность и безделье, но и они считали: надо быть наготове. Джигиты не спали... Джигиты гостили. Нынче они в гостях у народа.

Все ждали чего-то. И никто не знал, чего ждет. Утешались тем, что джигиты наготове...

Печально смотрел Серикбай на красоту гор, на вечернее оживление лугов. Он благодарил и благословлял судьбу за отчий дом, за землю и небо, которые достались его роду, его племени. Не эта ли земля сделала албан одним из самых видных казахских родов? Но думал Серикбай: а не слишком ли богат этот дом? Не слишком ли он благополучен? И не находил ответа в своей душе.

Неужели конец привычному приволью, нелегкой, кочевой, но милой и родной аульной жизни, желанному миру?

Подходили к Серикбаю люди, ищущие, вопрошающие. Его любили, держались за него... А что он мог им ответить?

Вот один из них, Жаксылык. Малорослый, тощий старик. За версту видно, что горемыка. Единственный у него сын, единственный кормилец - Жуматай. Крепыш, девкам на загляденье! Ему первым быть в списках... Наверно, уже пролил старик со своей старухой соленую слезу, думая над участью сына, над своей участью. Сегодня

его бедная юрта богата, а завтра может быть разорена дотла. И родной аул станет чужим, вся жизнь пуста и безотраднa. Все, что он пережил, стало быть, еще не горе, а вот это горе!

Жаксылык скромн, как его достаток. Приблизится неслышно, спросит невнятно, а то и смолчит. Спрашивали его запавшие от горьких дум глаза. Что новогo? Добрые ли вести? Но Серикбай молчал, ибо сказать «все по-прежнему» - значит молчать.

Старику отвечали джигиты... Они говорили за Серикбая, много говорили.

Ближе других к нему были Баймагамбет и Отеу, из бедняков; они ездили с ним повсюду, они все знали.

- Эти гостили внизу, - сказал Баймагамбет, кивая на молодых всадников, уже в сумерках въезжавших в аул с песней. - За нынешний день, пожалуй, барашков тридцать - сорок заколото.

- Какое там тридцать! - возразил Отеу со смешком. - Если взять аулы в Коктебе, наверняка все пятьдесят! Народ расщедрился на славу...

- Хороша твоя щедрость и слава, - перебил его Баймагамбет, косясь на Серикбая. -

Много ли разгуляешься, если будешь жрать собственный скот? Отобрать бы у казаков... у ихних богатеев...

Жаксылык удрученно повесил голову. И словно выдавил из себя:

- Дались тебе казаки, сынок... Подумал бы лучше, как побережь свою скотину. А всего бы лучше, если б ни ты, ни казак не трогали друг дружку.

- Ишь чего захотел! А ежели он не хочет? Вечно нам терпеть, отец?

- Я уж натерпелся досыта. А вот как ты, милый... я еще не видел. Тебя-то он пока не трогал. Что ж зря болтать... Неладно все это.

- А народу нравится! Драться, так драться не шутя! - вскрикнул Баймагамбет.

- Зачем же тогда сели на коней, забросили хозяйство? - добавил Отеу - Оружие готовим...

- Больно много вы знаете, как я погляжу, - вздохнул Жаксылык. - Кому это нравится? Кто будет драться? Где оно, оружие? Я что-то не знаю. Не вижу. Это как же у вас... как у моего Жуматая? Привяжет железок палке и говорит - копьё! Думаешь, солдат будет

стоять да ждать, пока ты подскачешь да пырнешь его?

Парни примолкли, смущенные. Все ждали - скажет Серикбай. Но он не обмолвился ни словом. Баймагамбет подмигнул:

- А что, отец? Случись война - что-нибудь придумаем. Не пулей берут, а храбростью. Пугнем разок, глядишь, солдат побросает оружие, а мы и подберем...

- А что, отец? - повторил Отеу. - Не люблю, когда киснут прежде времени. Случись война - отгоним весь скот подальше, в какой-нибудь тайный глубокий овраг...

И было это так лихо-дурашливо, что все рассмеялись.

Случись война... Так говорили потому, что наслышаны были о киргизах... Не далее как сегодня в соседнем ауле кололи барашка, пили кумыс, там были скачки, была борьба казахша курес - вольная, с хитрыми подножками, ловкими бросками. И вот туда приехал один человек с ярмарки и привез слухи неслыханные, и все про них, про них...

- Смотри на киргизов! - сказал Баймагамбет, исподлобья косясь на Серикбая. - Говорят, под Караколом

улепетывают тамошние сивые загривки, как зайцы. Чем мы хуже киргизов?

Отеу загорелся. Он верил всем слухам без разбора.

- Киргизы, если начнут, не отвалятся на полпути. На нас надеются, на албан. Так говорят!

Старый Жаксылык с робкой надеждой повернулся к Серикбаю:

- Раз воюют, значит, вооружены? Есть оружие?

- Вряд ли... Но в них я верю. Это народ смелый, воинственный. Дай им бог...

Старик, обрадованный тем, что Серикбай наконец заговорил, не отворачивается, почти взмолился:

- А мы? А мы-то что? Вся Каркара поднялась... Говорят, Узак-батыр угнал самых лучших коней из табунов брата Тунгатара, отдал неимущим добровольцам... Паук этот Тунгатар... Правду ли говорят?

Но опять ему ответил Баймагамбет:

- А мы? Мы тоже... Во всем Донгелексазе кони пасутся на аркане. Только позови, кликни!

И Жаксылык опять опустил голову, что-то глухо, недовольно бормоча себе в бороду.

Серикбай с силой похлестывал плетью по новому мягкому сапогу. Он думал о том, что спросил у него старик: угнал лучших коней... раздал неимущим... паук этот Тунгатар...

Старик сказал о самом главном. Отеу ответил ему в тон, сам того не понимая, смешливо крутя головой:

- У меня одна лошадка. На ней пашу и сено убираю. Вот оседлал! Авось хватит ее - прогнать пристава до Жаркента? А? А тот рыжий... Жансеит... И всего-то у него две лошадки, а одну уступил Канапие. Что же мне после этого жалеть? Ни жизни, ни добра не жалко!

Услышав имя Жансеита, Баймагамбет прыснул, сказал:

- Подарил, сукин сын! Мало того... Этого ему мало... Я, говорит, свое раздал. Теперь каждый пеший, у кого нет коня, пускай идет ко мне, будет конный! По крайности, угоню табун толмача Оспана, но ни один не пойдет пеший.

- Веселый он - братец Жансеит, - неожиданно с недоброй улыбкой проговорил Серикбай. - Оспан-то родственник Жансеиту, как Тунгатар Узак-батыру... Грозит, значит, табуну толмача? И верьте -

раздаст! А этот черный ворон, питающийся падалью, гнилое яйцо... Не то что помочь народу, напротив, только того и ищет, как бы насосаться по-паучьи в царской паутине. Сам он не даст ни одного коня. А дал бы, не был бы Оспаном.

Жаксылык слушал Серикбая с откровенным облегчением.

- И на что он надеется? - спросил сдержанно. - Так и не ушел с ярмарки. Ну, не дай бог, перебьют всех албан, с кем он останется? Выучили ихней грамоте, и забыл все на свете, забыл дедов и прадедов... Глуп как чурбан.

- Глуп, да не очень, - сказал Серикбай. - Съедет с ярмарки, скажут, переметнулся. А что ему народ? Здравствовало бы начальство. Жебирбаев - ворюга, а этот предатель! Кто раз отведал похлебки господина пристава, тот уже отравлен. По мне, Оспан опасней урядника.

- То-то и оно, - сказал Баймагамбет. - Брал бы, черт с ним. Был бы шкурой... да ведь шельма! Продает.

- Советует, упреждает... - язвительно добавил Отеу. - Завтра-послезавтра, говорит,

будет народ тише воды, ниже травы, строго накажут...

- Кого же накажут? - спросил Жаксылык.

- Спроси, кого пощадят. Всех подряд...

- Не в тебя метит, отец, в Узака! - перебил Баймагамбет. - Чтобы ты его продал, как он продает.

- Да... Пора бы, пора Жансеиту вырвать это жало, - проговорил Серикбай сквозь зубы.

- Надо змее знать, кого ей бояться!

Джигиты угрюмо переглянулись. Имя Жансеита их уже не смешило.

Тут подошел Карашал, друг и правая рука Серикбая в хозяйственных делах; разговор принял новый оборот, и стало вдруг ясно, что на душе у Серикбая.

- Не знаю, как там и что, - сказал Карашал, - а пока суд да дело, аул Оспана и в ус не дует. Живет сам по себе, сам для себя, ничего его не касается. Единственные из всех албан, кто занят хозяйством, -это они. Прислал жену и детей в аул...

- Понятно, - сказал Серикбай. - Черная коза печется о спасении, а мясник о ее мясе. Разбогател за пять лет... Богаче всех!

Карашал причмокнул: богаче, мол, не бедней.

- А кстати, - сказал он, - раз уж речь о хозяйстве... У нас тоже пшеница созрела, время жать. И с покосом надо спешить, а то опоздаем... Что за праздник у албан? Такой нынче урожай! Хлеб... Сено... Пропадает! Неужто дадим пропасть?

- Не ворчи, - сказал Серикбай раздраженно и словно бы виновато. - Жужжишь, как осенняя муха, не отобьешься от тебя. Что же, мы все шутики шутим? Поминки у нас, а не праздник... Еще то ли увидишь!

- Пока увижу, кормиться надо... - возразил Карашал. - Деды учили: жить тебе до полудня - запасись едой на целый день.

Серикбая взорвало, и по тому, как он стал говорить, хлеща себя плетью по сапогу, видно было, каково это человеку - поворачивать на скаку не коня, а всю свою жизнь.

- Пропади он пропадом, мой дневной запас! Я не Оспан. Мне помирать в полдень. Не нужно мне богатеть.

- А нужно тебе беднеть? - быстро, с хитреньким прищуром спросил Карашал.

- Хочешь, чтобы я дрожал над богатством... Хочешь, чтобы трялся... Что за радость? - вскричал Серикбай.

- Рехнулся ты, хозяин! Смеешься надо мной?

- Я смеюсь? Плачу я. Начни я убирать хлеб - завтра же все разбредутся. У каждого сыщется дело. Кто не нуждается в хлебе, в сене? Не так мы богаты. Совсем небогаты! (Жаксылык и Отеу закивали головой.)

Уйдем в поле, забудем коня. Коня береги! Это наше единственное оружие.

- Не узнаю тебя, не понимаю, - пробормотал Карашал.

- Не обо мне думай, тогда поймешь! - сказал Серикбай. - Я говорю всем: будь наготове, хозяйство подождет. Делись всем, чем можешь, корми друг друга. И будь на коне по первому зову - в срок и к месту! Не расходись, не отлучайся никуда ни днем, ни ночью. Будет гостевать. Не сегодня, так завтра быть такому делу, каких мы еще не делали... Пока не пройдем через это испытание, жизнь не жизнь и добро не

добро. Провались все, и скот и хлеб, если мы не выстоим.

- Помилуй бог, - сказал Карашал. - Разоришься -Оспан будет рад. Уж он-то не сидит сложа руки.

- Ты не тычь мне своим Оспаном! Имей совесть... Оглядиись - бедняки раздают последнее. Бедный из бедных Жансеит имел двух лошадок - одну отдал! А наш волостной Аубакир? Кабы захотел, был бы начальником почище твоего Оспана... А батыр Узак кого первого ударил? Тунгатара, паука! Я разорюсь, когда народ разорится...

Карашал утирал рукавом чапана лицо и грудь. Он был в холодном поту.

- Что ты надумал? Скажи, ради аллаха. И Серикбай сказал:

- Придет черный день, будет нужда - пригоню свой табун и раздам Донгелексу. Раздам - и не охну. Теперь понял?

К этому клонилось, все этого ждали... И все-таки не верилось! Ободрать богача, мироеда - это в степи бывало. А вот раздарить свой табун - такого еще не слыхали.

Жаксылык стоял в сторонке, смиренно сложив руки, как приличествует бедняку.

«Ай, Серикбай, ай, Серикбай, - думал он. - Молод ты еще, молод... А будет ли доволен твой отец, давший тебе имя?»

\* \* \*

Минуло две недели с того дня, когда род албан сел на коня и сказал приставу: «Не дадим джигитов», - но повсюду было «все по-прежнему»...

Аул Узака напоминал штаб; сюда стекались вести и слухи. Надежные, смышленные гонцы уносили их в аулы Жаменке, Турлыгожи и Серикбая, а оттуда и дальше, повсюду. Видные люди этих аулов спешно съезжались на совет; говорили и говорили, а сказанное не держали в секрете...

Слухи и вести шли издалека - из Каракола, Жаркента, из города Верного, но прежде всего с ярмарки в Каркаре, где обитал пристав. И все глаза, все уши были нацелены на Каркару

А власти таились. Они были неразговорчивы... Набрали в рот воды и толмачи, и прочие ученые казахи. От них

ничего нельзя было добиться. И глупо, опасно было им довериться. Нужен был свой человек на ярмарке. Стали такого искать. И нашли.

Им оказался узбек Султанмурат, купец из Ташкента, обходительный и умнейший из торговых гостей. Он жил близко от канцелярии и не упускал из виду никого из тех, кто туда прибывал, будь то купец, чиновник или курьер. Сумел он войти и в окружение самого пристава; время было тревожное, рюмка водки под балычок и под граммофон успокаивала. Трудно было, однако, добраться до Султанмурата, не вызвав подозрений.

Ярмарка пустовала. Приезжали двое-трое, а то и пятеро-шестеро драных бедняков верхом на волах. Люди мелкие, и покупки мелочные. Но как бы ни была пустячна покупка, казах не торопится, обойдет всех купцов и все лавки, самые крупные и дорогие. А уж эти на волах, точно на смех, приценивались ко всему и торговались за каждый грош до хрипоты, до синевы. Впрочем, изнывающему без дела купцу они были не в тягость. К ним-то и подсылал Султанмурат приказчика-насмешника, и под

шумок тот сообщал им что нужно... Люди всякий раз приезжали новые.

Так были получены первые бесценные весточки - о восстании. Одновременно прибыл очень хороший человек - из Каракола. Вести совпадали...

Немедля Узак снарядил двоих к Серикбаю. Они прискакали на Донгелексам уже ночью, под истошный лай собак, разбудивший весь аул.

Узнать всадника в темноте нелегко. Кони толкались, тяжело сопя, звеня уздечками, седла скрипели. Но одного рослого на длинном коне как не узнать! И седло и стремяна у него посверкивали серебром. Это весельчак Кокбай, из джигитов джигит. Другой, похоже, вестовой.

Кокбай едва вошел в юрту и сорвал с головы пропотевшую шапку, не успев отдышаться, забасил:

- Из Каракола! От Султанмурата... Одним словом, началось. Донял царь и нас, и киргизов, и уйгуров. Поднялись все, начиная от Лепсы и Талды-Кургана. Не признают указа! Никаких чертовых списков! Грозят уйти от царя... Были нападения на города. Были стычки с солдатами. Дальше. Под

Пишпеком, Верным, Караколом восстание. Там настоящая война! Оказывается, все-таки опередили нас киргизы и уйгуры. Напали на военный обоз с оружием, который шел из Пишпека в Каракол. Говорят, вооружились все до одного. Власти напуганы...

Отеу не выдержал, вскрикнул:

- Говорил я вам - киргизы! Они начали дело. Их разозли - ни за что не остановишь.

- Не только они... уйгуры!

- Вот это народ. Мне бы туда... Нам бы с ними... -сказал Баймагамбет.

Серикбай спокойно почесал бородку.

- Послушай, насколько все это точно? Спрашивали у Султанмурата?

- Наверно, уж точно. Должно быть, точно, - сказал Отеу.

Кокбай перебил его:

- Прибыл еще от киргизов их человек известить нас, албанов. Говорит, посланы вестники в Верный, в Пишпек. От вожаков!

- Кто же у них в вожаках?

- Сказано было, что Батырхан, Кыдыр, Саудамбек... Восстал весь народ. Ни один не ушел в кусты... Просят действовать сообща. Просят подтвердить делом -разнести

ярмарку... Кстати, знают они наших - Узака, Жаменке... и тебя, Серикбай...

- Ой, спасибо, спасибо беркутам! - Отеу взмахнул руками.

А Баймагамбет заметался по юрте, то вскакивая, то вновь садясь.

- Что ж тут раздумывать? К делу! Вот настоящие мужчины...

Но Серикбай был невозмутим.

- Что говорит Узак?

- Ждет вас... Думает он, что дошло все это до пристава. Если дошло, значит, так оно и есть. Снимется тогда Сивый Загривок с места со своим конвоем. Но по-хорошему этот волк не уйдет. Не может он по-хорошему... Надо держать ухо востро. Завтра, не позже, все будет ясно.

- А до завтра что будем делать? Ждать? - зло выговорил Серикбай.

Кокбай засмеялся.

- А вы, как Узак... бьете тем же словом! Посланы три человека к Саудамбеку. Хотим рука об руку с ними. Это одно. А второе - посланы наши гонцы в урочище Асы, к красношапочникам. Чует моя душа - оттуда будут вести. С часу на час!

Красношапочники были тоже рода албан, как и черные шапки, но не такие смиренные.

- Говоришь, из урочища Асы? Все может быть. Похоже на то, - сказал Серикбай задумчиво.

И старики, бывшие при том разговоре, прослезились, благословляя:

- Ну... чтоб все хорошо было... О дух святого предка...

Ободрился даже Карашал, который в отличие от Отеу не верил никаким слухам. И только когда

Серикбай встал со словами: «Баймагамбет, седлай...» - Карашал помрачнел:

- Уедешь? А кто же тут... с нашими? Без головы ноги не ходят.

На минуту Серикбай задумался.

- Аубакир останется дома. Он будет с людьми... - И с легкой душой уехал.

Пришлось Серикбаю вскоре горько пожалеть об этом.

В ту же ночь радостная весть, как ветер, облетела весь Ширганак, и не только Ширганак - все луга и летовки на десятки верст окрест. Повеселело пастушье племя, ожил степной люд.

Всю ночь непрерывно лаяли собаки, скакали из аула в аул гонцы. Не гасли очаги, пылали костры. Искры взлетали до неба, в котлах дымился бешбармак. Никто не хотел спать - ни старцы, ни дети. Взрывы смеха, протяжные песни мужчин и женщин, игры, стычки и забавы превратили эту ночь в праздничный день.

До утра ехал Серикбай и до утра видел во всех аулах веселую суету, общее радостное возбуждение. Его останавливали, сообщали ему весть Кокбая... Предлагали мясо, кумыс и игры с выкупом, но выкуп не деньгами, а песней или шуткой, и с наградными поцелуями аульной черноокой красавицы.

Давно рассвело, когда Серикбай въехал в большой аул. На пологом зеленом косогоре стояли сплошь белые юрты. Близ юрт множество овец. Припля-сывали, развевая гривы, великолепные боевые кони - на арканах или с путами на передних лодыжках. Людей не видно было, если не считать старых пастухов, которые бодрствуют и на вечерней и на утренней заре. Аул спал, но, видимо, тоже после шумной бессонной ночи.

Будить никого не хотелось. Серикбай разнуздал коня, прилег на лужайке у центральной юрты вздремнуть после утомительной дороги... И проснулся лишь к обеду.

Над ним стоял Турлыгожа, а чуть поодаль незнакомый человек в шапке из рыжей смушки.

Серикбай вскочил смущенный: проспал? Турлыгожа взглядом ответил: еще нет!

- Поздравляю, - сказал он. - Гони суюнши.  
- И ловко сорвал с головы Серикбая тубетейку.

- Э-э, что такое? - пробормотал Серикбай.  
- Что случилось?

- Случилось! - проговорил Турлыгожа своим зычным голосом. - Восстала Асы! Красношапочники... Вот их человек. Перебили солдат во главе с начальником, порвали списки, прогнали всех...

- Не врет он? - растерянно спросил Серикбай. Незнакомец молча покачал головой.

Втроем вошли в юрту. Она была полна народу. Сидели старые и молодые. Все

громко переговаривались. Перед каждым - пиала с кумысом.

На почетном месте Серикбай увидел Узака и Жаменке. Здороваясь, от самых дверей закричал:

- Правда ли?

Веселые морщины собрались у глаз Жаменке.

- Правда, правда. Обогнали тебя, милый, красные шапки... Они уже выступили. А мы все ждем. Посмеются над нами, и поделом. Наш черед ударить по власти, пока она не очухалась от страха! Садись поешь, да потолкуем...

И никто из тех, кто был в юрте и выходил из нее, не заметил поблизости от аула, от зловещего Меченого Камня, на котором лежало клеймо проклятья, одного странного человека.

Его хорошо знали все, кто был в юрте. Они его туда не позвали. Но он и не нуждался в этом. Нужда у него была совсем иного свойства.

Он ночевал в небольшом тихом ауле, тихом даже в ту радостную ночь. Аул был укрыт в кабаньем бору... Ехал человек

восвояси, может, на ярмарку, а может, и с ярмарки... И вдруг у белых юрт, чистых, как первый снег, увидел он оседланных коней, забрызганных грязью по самые седла, покрытых потеками пота и пены. Кони тянулись к траве, грызли удила. Видно, что не кормлены, непоены и пробыли в пути не час и не два, всю ночь.

Глаз у человека был наметанный. Среди многих коней он легко отличил знатного рыжего иноходца под богатым седлом. Это конь Серикбая. Но еще приметней были два жеребца с волнистыми, вьющимися гривами. Это кони красношапочников!

Человек осторожно поодаль объехал аул. При нем был только один джигит. Под косогором бродил дряхлый старик, щипал скрюченными пальцами какие-то травки и нюхал их. К нему и подъехал с опаской джигит. Старик обрадовался собеседнику, заговорил захлеб:

- А сам ты... не видишь? Приезжие... Издалека... Только к утру успели. Хотят решить, что теперь делать с приставом... Серикбай, Турлыгожа, Жаменке... К тому же было кровопролитие. Там... как его... в этом... в урочище Асы! Есть один молодой оттуда, с

перевала. Вон те два жеребца его... Они самые.

Старик был туг на ухо, кричал, и человек слышал каждое слово, но был так любознателен, что подъехал ближе и сам расспросил о том о сем.

А потом человек потихоньку отъехал, отозвав джигита. Ехал и ехал трусцой. Но как только аул скрылся из виду, он пустил коня во весь опор и гнал его, не жалея плети.

## Глава шестая

Щедра земля в урочище Асы, высоко в горах Алатау. Здесь от века жили красные шапки, крупная крепкая ветвь рода албан. А с ними бок о бок селились ближние племена - жаныс и канглы, оторванные от дедовских корней, потесненные с родных мест, из-под города Верного. Пришли они сюда голые, босые, как путники, ограбленные на большой дороге. Асы приютила и их.

Это продолговатая, глубокая, как колыбель, зеленая долина. На западе высится выпуклая гора, покрытая сбоку густыми кудрями хвои. Ни дать ни взять - красавица с толстой черной косой на правом плече. Стоит она в полный рост над колыбелью, прикрывая ее спиной от ветров. На востоке толпятся небольшие округлые вершины, точно подушки в изголовье.

Здесь много воды и до поздней осени чисто и зелено. Воды стекаются с горных высот в реку Кокозек, и она все лето полноводна, дышит величаво.

Зеленая долина полна кипучего движенья - это первое, что бросается в глаза и радуется

глаз. Куда ни глянь, стада и табуны на привольных травах. Травы не выжжены, не вытоптаны и не объедены даже к концу лета. В буйной зелени белеют юрты, точно гусиные яйца в камышах.

Пришел август; ночи похолодали, участились дожди. По утрам весь мир застилал туман, потом он поднимался и источал теплую, нежную изморось. К полудню солнце разрывало белесую пелену, и распахивалось небо, словно умытое, а долина хорошела, как в сказке.

Космы тумана еще лежали на окрестных горах, цепляясь за пышную хвою. На снежных зубцах Алатау синели и чернели тучи. Там повисали гладкие косые полосы ливня и в них посверкивали молнии. Но над лугами облачка уже белы, ленивы и ласковы.

У края долины, между зеленью лугов и синевой неба, возвышается стена мрака. Это леса, сосны. Кажется, что там затаился кто-то в шубе, вывернутой наизнанку. Голова у него в чалме тумана. Он хмурится и тоскует по ясным весенним дням. И все же любит тишиной и свежестью августовского полудня.

Облака уплывают за горы медленно, словно прощаясь и обнадеживая. По лугам скользят легкие дымчатые тени. Они будто играют в свет и мрак. Так бывает на душе, когда светлое, радостное, блаженное вдруг заволакивается пеленой необъяснимой грусти.

Так бывает в горах, на летовках, в то яркое и краткое время, когда осень еще завтра, а лето уже вчера.

К югу вдоль реки тянулась обрамленная вековыми соснами просторная лощина. Здесь, на самой лучшей из земель красношапочников, осел аул, может быть, самый богатый во всем роде албан. Это было родное гнездо предков Даркембая, отца Даулетбека, а Даулетбек был самым влиятельным лицом во всем громадном Верненском уезде величиной с иную европейскую державу.

Жители этого аула вели свою родословную от одного общего предка. Из поколения в поколение множилось число потомков и сородичей, множилось и их богатство. Ныне большая аульная семья насчитывала уже человек триста, и

праматерь этих трехсот человек, старая байбише, была еще жива.

Многотысячными, а значит, уже несчетными табунами, стадами и отарами владел сын Даркембая Даулетбек. Их пасли десятки его слуг-пастухов. Богатство и могущественная родня принесли Даулетбеку неслыханную власть и славу почти святого. Звали его не иначе как Почтенным и Благим. И было время, совсем недавно, когда он мог повелевать и карать, как ему вздумается. Мог лишить имущества, мог лишить и жизни. И лишал, обогащая себя и свою родню, как это делали его предки до прихода русских и еще немало лет после их прихода.

\* \* \*

Господин Клубницкий, помощник уездного начальника, прибыл в урочище Асы из города Верного с порядочной свитой. При нем был младший чиновник, толмач, два бойких писаря и воинский наряд в составе девяти нижних чинов при десятом унтере. По одному этому можно судить о том, как

было взвинчено начальство и какие надежды оно возлагало на господина Клубницкого.

Красношапочники исстари жили на виду и могли бы явить образец поведения для всех инородцев. Между тем в урочище Асы словно уснули. Красношапочники упорно и загадочно молчали. Это лишило покоя начальство. Вероятно, полагало оно, народ напуган и смущен. И, слава богу, разрознен и не знает общего языка... Народ дик и глуп. Но могут найтись смутьяны и поджигатели. А посему надобно направить в аулы распорядительных и строгих чиновников с нарядами солдат. Помочь господам волостным составить списки по всей форме. И препроводить джигитов на реквизицию под конвоем. Не упустить кризисного часа. Тогда народ сам сунет голову в хомут. Увидят, что первые джигиты взяты и земля не разверзлась. Увидят порядок и потянутся по ранжиру. Нужен пример, как козел для овец. Пусть им будут красношапочники.

Клубницкий избрал местом своей резиденции аул Даулетбека. Ехал он сюда на рессорной коляске, но чувствовал себя как на гвоздях. Он уже знал, что было на ярмарке в

Жаркентском уезде. Знал - между киргизами брожение. Что греха таить - все уроженцы Алатау встали и ощетинились, как леса на горах. И там и сям пахло гарью... Списки - больное место... И понятно, что Клубницкий был готов к неожиданностям. Но то, что он встретил, ни на что было не похоже.

Народ угрюм. Смотрит косо. Зол, как цепной пес. Ни малейшего признака радушия. Юрту для начальства - и ту едва сыскали. Никто не пожелал ее ставить. Ни один, как бывало, не кинулся сломя голову, причитая от усердия. Кто-то из волостных все же дал юрту, но не узнать кто... Немалых хлопот стоило также найти барашка на бешбармак гостям. Кумыса как не бывало. Не подали, сукины дети, даже освежиться с дороги. Таким гостям! Из самого Верного, где живет сорок тысяч верных слуг белого царя.

Вообще управители, старшины и прочая местная власть ходят, как сонные. Одни чешутся, другие зевают тебе в лицо с собачьим завыванием. Так и норовят перепоручить твой приказ один другому.

С ними Клубницкий обошелся круто, взял их за бока... Он нередко наезжал к казахам с

ревизией да инспекцией и был известен своей суровостью. Не столько нечист, сколько тяжел на руку... Он и на этот раз потешился всласть. Орал на волостных и биев, не давал им рта раскрыть. Ругал на чем свет стоит при младших и при слугах. Топал ногами, закатывая глаза. Гнал вон из юрты, не считаясь с именем и званием. Двух старшин велел арестовать, а еще одному-другому самолично влепил по оплеухе.

Но от его глаз не ускользнуло то, что местные господа уходили после разноса предовольные... Уходили спать!

Клубницкий сбавил тон, и незамедлительно распорядился потихоньку собрать всех чиновников, которые были поблизости в аулах по делам службы. Писцов, судебных исполнителей, стражников - всех!

Они тотчас явились, не глядя на внезапный ливень и распутицу. Собралось в общем человек двадцать, все были вооружены.

Тогда подошел к Клубницкому один из волостных, человек рыхлый, кривоногий,

обычно молчаливый и несмелый в разговоре, с такими словами:

- Каспадын нашалнык... народ сапсем плоха...

И дал понять, что одни волостные вряд ли справятся. Не совладать... Но есть у них аксакалы - Даулетбек... Жылкыбай... Казах не живет и не умирает без аксакала. Без аксакала казах плохой...

И Клубницкий внял совету.

- Зови! Пусть придут.

Так оказался в его юрте Даулетбек, Почтенный и Благой. Приехал и Жылкыбай. А с ними еще несколько стариков.

Они пробыли у Клубницкого долго, целый день. На их глазах продолжались вразумления, внушения и рукоприкладство. Слышали старики отдельные робкие голоса, которые пытались было склонить Клубницкого повременить, пока подадут прошение... пока его рассмотрят... Он пропускал все это мимо ушей. Помимо бранных слов, он употреблял лишь одно слово: списки, списки!

Ничего путного от волостных старики не ожидали. И Клубницкий их не испугал. Их пугало и угнетало другое. Даулетбек молчал!

Старики перешептывались со стыдом:

- Что же, так и порем, не вымолвив ни слова?

- Почему же вам не сказать? Надо что-нибудь нам сказать.

- Дауке... уважаемый... Ты ли не знаешь народ, его чаяния, его упования... Как мы посмотрим людям в глаза? Так и отдашь покорно этому бесноватому списки?

- Связал ты нас арканной петлей, конскими путами, Дауке...

Но Даулетбек сидел, как идол. И было его молчание громче грома.

Жылкыбай ворчал сварливо:

- А кто тебя станет слушать? Не видишь, что ли, как он жмет?

Жылкыбай был очень стар, очень утомлен и недоволен. Спину разламывало от боли.

«Пусть бы брали уж поскорей... хотя бы и эти списки... - думалось ему сквозь звон в ушах. - Не проситься же нам, старым людям, в тюрьму из-за каких-то там бумаг. Одно дело - бумаги, другое дело - люди... Дойдет

до джигитов, посмотрим, как оно будет! Возьмем и не дадим. Попробуй их удержи...»

Так думал Жылкыбай, но и думая так, он не открывал рта.

На ту беду, отыскался след каких-то поименных списков, подходящих к случаю. Кто знает, что в них было намаракано. Но Клубницкий, вскричав: «Прревосходно! Всех прощу! Всех награжу!» - послал за ними толмача с двумя конвойными. Старики зароптали:

- Что же это происходит? Такое оскорбление, такое поношение...

- Зачем мы тут торчим, подобно трухлявым пням, изъеденным муравьями?

- Что за собачья жизнь, рабская доля?

- Ба! Господа аксакалы... - сказал Клубницкий, присмотревшись к Даулетбеку.  
- Вы мои гости. Мое вам почтение. Я у вас в долгу не останусь...

Он давно понял игру Даулетбека - раньше, чем однородцы бая. Даулетбек знал, что делал, ибо его молчание было делом. Тонкое это, высокое дело - молчать к месту да ко времени, если ты пророк.

Какое величие на его челе! Какая горькая мука в глазах! Разве он сказал «да» начальству? Разве он сказал «нет» народу? А между тем он служил царю верой и правдой. Клубницкий понял: пока здесь при нем этот человек, там, на летовке, будет мир, покой и терпенье.

Две недели тому назад была у Даулетбека смутная минута, когда и он вроде бы обмолвился: не дадим джигитов. А потом приехал из города старший сын, новый человек среди сыновей их рода, постигший таинство русской грамоты и русских денег. Он богател на торговле с быстротой, завидной для степняка. Сын привез из города приветное словцо, из которого следовало - отцу молчать, дабы слышнее было царя.

И Даулетбек, сын Даркембая, молчал, а на летовке в аулах не знали, почему он молчит, ждали смиренно, ждали с надеждой.

Шепот в юрте Клубницкого, однако, не утихал, и теперь склонялись друг к другу не только старики.

- Лучше на край света, чем так жить.
- Уйдем, пусть правитель делает, что хочет.

- Да, пусть делает, что ему вздумается, но без нас.

- Не убьет! Не остановит...

Тем временем подскакал и вбежал в юрту толмач с бумагами в руках. Конвойные, которых ему придал Клубницкий, остановились в дверях с шашками наголо. Прибыли списки!

И тут случилось то, чего все-таки не ждал Даулетбек, никак не ждал и Клубницкий, а может, и сами красношапочники. Вскочили все, кроме Даулетбека; кряхтя встал и Жылкыбай... И с криком: «Пошли! Пошли!» - повалили вон на волю.

Тщетно выходило из себя начальство. Тщетно солдаты преграждали дорогу ружьями, замахивались прикладами. Люди шли прочь от юрты, прочь из аула Даулетбека к соседнему ближайшему аулу.

- Мы не волостные и не старшины. Вон они. Их держите... А мы пошли! Мы пошли! - и, говоря так, уходили.

Когда же они вышли к отлогому лесистому холму неподалеку, им навстречу из-за холма и из леса выступили люди из соседнего аула и еще из многих аулов. Это

были женщины, старцы и дети. Они собрались давно и ждали весь день под дождем, моросившим из рваной кошмы тумана, которая висела над лощиной. Они держались порознь и семьями, а сейчас сошлись вместе. Было их не менее ста. Лица печальны и унылы, иные строги, иные злы. У женщин и детей заплаканы глаза.

Увидев их, мужчины, шедшие из аула Даулетбека, стали выкрикивать:

- Забрали... Прощайтесь, люди...  
Лишились, лишились джигитов люди...

Услышав это, женщины заголосили, запели жоктау, плач по умершему, содрогающий душу:

- Опора моя, единственный мой, опора моя!

Обе толпы, большая и маленькая, слились и смешались. Зашумели, загалдели все. Женщины, старики цеплялись друг за друга со стонами и громким рыданьем. Толпа толкалась и ворочалась, вздымая к небу множество скорбящих и грозящих рук, и вдруг с ревом повалила к аулу Даулетбека, к юрте Клубницкого, у которой нестройно стояли солдаты с ружьями наперевес.

\* \* \*

Еще утром, когда Клубницкий собирал чиновников из окрестных аулов, вся округа всполошилась. Сходились старики, сбегались женщины, дети к коновязям, на приаульные лужайки, гомоня на все голоса. Мужчин, однако, не видно было.

- Этот главный из Верного... дерется, как шайтан... рвет списки с мясом...

- Наехала тьма солдат. Штыки, сабли голые...

- Говорят, зажали рты Даулетбеку и Жылкыбаю. Может ли так быть?

- Это конец. Пропали джигиты!

- А где они, наши-то? Куда подевались? Обабились они, что ли?

Люди метались из стороны в сторону, кружились, как дети, играющие в жмурки, с повязкой на глазах, то приближаясь, то удаляясь от белой юрты Клубницкого. Она одиноко стояла на каменистом берегу реки, на крутой излучине, огибавшей подножье горы, заросшей соснами. Она манила и отталкивала, как злой дух ночью в глухом бору.

- Чего зря стоять? Идти надо...

- Узнать, что да как, спросить. Разве нельзя спросить?

- Пусть начальство посмотрит, как мы плачем. Хорошо ли, когда народ обливается слезами?

- Где волостные, где старшины? Будь они неладны...

- Прячут свои побитые морды!

- Почему аксакалы с этим неверным?.. Что им там делать?

- Ох, что-то они засиделись... Это не к добру.

- Отправить бы его не солоно хлебавши, без списков! Встретили без кумыса, проводить бы в шею...

- А джигиты, где джигиты? Почему не садятся на коней? Кто же, если не они, покажут, что и мы живые люди!

Джигиты как сквозь землю провалились, и женщины, матери, невесты, были в страхе, а старики в гневе. Что еще за стыд и срам на нашу голову? Не схоронив, не оплавав, вдруг осиротели.

Подошел старый пастух. Послушал, посмеиваясь в бороду. И поднял над головой свою клюку.

- Что кричите, что шумите? Разорались со страху. Будут вам джигиты! Вон из того леса.

- Ой, правда? Ой!

- Как же они там оказались? Как это мы не углядели?

- То-то что не углядели. Видел я на опушке вроде бы табун коней... и хоть бы один при нем табунщик... будто бы ни одного! Значит, это они. Значит, правда.

- О господи, помоги им, не оставь их...

- О святой пращур, укрепи нас всех...

Старухи и девушки расплакались. Старики повеселели. Стали кричать, гладить бороды.

- Кто же их собрал? Много ли их?

- И не сговаривались... и не рядились... А вот видишь, поспели!

- Что ж тут сговариваться? В такое время надо сквозь землю чуют друг друга.

- В такое время, - со смешком сказал старый пастух, - мигом скиснешь, как молоко. Стало быть, не скисли. Собрались человек двести - триста. Есть и с ружьями...

- Да, да, кое у кого должны быть...

- То-то что должны. Копья да дубины... Но чутье у них волчье. Как сказал один: «за мной», - отовсюду отозвались. И по сей час к

нему едут и едут. Наш малыш Матай - и тот помчался на своей трехлетке.

- Кто же такой сказал: «за мной»?

- Стало быть, сказал... Стало быть, есть такой... И старик шепотом назвал имя: Ибрай!

- Ну, молодец! А как же иначе? Должен сыскаться храбрец, когда так достается народу...

- Хитрая голова. Знает толк в своем деле... Он и китайцев, и калмыков, и киргизов, и нашего брата, казаха, попробовал на зубок.

- Дай ему дубинку потяжелее - устоит против пятерых.

- Пособи ему, аллах, пособи.

Ибрая знали все от родного аула до синьцзянских караванных троп. Это был рослый, плотный, плечистый джигит лет под тридцать. Усы жесткие, как конский волос, колючая борода. В гостях он казался толст и неповоротлив, а на коне был, как вихрь. Одни почитали его как батыра, другие хулили как конокрада. Он был и тем и другим. Собрал десятерых крепких, рискованных джигитов под стать себе, вооружил их дубинами, секирами и ходил с ними в

набеги на богатые китайские, киргизские и казахские табуны, угонял коней и одаривал ими бедняков, голоту. Имелись у Ибрая на черный день и берданки и наганы. Это был отчаянный, искусный и добрый конокрад. Люди знали, что глаз у этого вора зоркий, а крыло могучее, как у беркута, но сердце человечье.

И вот его день наступил. Ибрай со своими джигитами встречал в лесу молодых, как русские говорят, новобранцев, собранных тайно и так хитроумно, что даже бабы, старики и детишки этого не заметили.

Конечно, новенькие все горели и все трусили.

- А ну-ка, на коней да за мной, - сказал им Ибрай. -Сегодня на карту ставится самая малость - и жизнь и добро... Ну, да сколько ни воюй, хоть сорок лет, и помирать тому, чей пробил последний час. Остальные пока поживут. Так что не бойся! А ну, трогай, чего стоишь! Не зевай...

От слов Ибрая джигиты захмелели и как будто бы ободрились, окрепли. Сырые души, необожженные, но других у Ибрая не было.

Он повел их своими скрытыми нелегкими дорогами, по оврагам и ущельям, попутно собирая новых и новых из дальних аулов, и походя испытывая джигитов на конях и коней под джигитами. Водил, томил, чтобы поостыли да попривыкли друг к другу, а потом внезапно вывел лесом прямо на юрту Клубницкого так, что джигиты оставались невидимыми, а юрта была как на ладони.

- Ладно, - сказал Ибрай. И велел замереть. А сам со старыми товарищами поехал под соснами вдоль реки.

Позади юрты Клубницкого возвышались две скалы, похожие на богатырские ворота. Здесь Ибрай спешился, спрятал за скалами коня и стал смотреть на солдат у юрты. Он был бледен от злости, усы стояли торчком. Злился потому, что дорожил товарищами и привык беречь оружие, самое драгоценное, что имел, а нынче предстоял большой расход, а джигиты из аулов плохо знали и совсем не знали друг друга, стрелять не умели и храбрились и рисовались по молодости и по глупости. Как их соберешь в кулак? Их было слишком много...

И все же он сделал что мог и выжидал, как ловчий беркут, желанной минуты, когда наконец хозяин снимет с его глаз шапочку-томагу, он взмоет в небо и ему откроется в камнях и травах красный огненный хвост лисы. Горячая жадная кровь билась в его жилах; она искала жизни и борьбы и вот уже несколько лет не могла остудиться. Ибрай скрипел зубами, сдерживая самого себя.

Поблизости укрылись его товарищи, названные братья. Он и за них в ответе. Они - единственная, настоящая сила. Они - его семья...

Ибрай видел, как из юрты Клубницкого выбежали, отталкивая солдат, старики, розовые и пунцовые от ярости. Слышал, как за холмом вдали начался траурный плач - жоктау... И не шевельнулся.

Но когда он увидел, как безоружные плачущие люди пошли, обезумев от горя, с холма к белой юрте, прямоком на солдат, и впереди дети и матери, - закричал, не таясь и не оберегаясь, побежал за скалы и прыгнул на коня.

Не задумываясь и не колеблясь, он выскочил из скалистых ворот. И словно

рухнул по крутизне с утеса, не оберегая любимого коня, душой и телом положившись на его железные ноги, звериную ловкость и верность. И конь снес его под обрыв и, легко, радостно угадывая, чего он хочет, помчал навстречу, наперерез бегущим детям и женам, без понуканий, без узды и без плети, быстрее волка, быстрее ветра.

Ибрай не оглядывался, и ему не нужно было слышать за своей спиной топота и знакомого свиста, чтобы знать: все десятеро бросились за ним, десятеро барымтачей, конокрадов. У всех на сердце было одно - успеть прикрыть своими телами, своими конями, своим разбойным, устрашающим видом тех безумных, беззащитных...

Из лесного секрета выше по реке показались молодые джигиты, рассыпались в беспорядке и закружились на растерянных конях, задерганных жестокими и дурными с перепугу руками. От юрты Клубницкого их отделяли спины бегущих. Кони не шли на эти спины. Но и того было довольно, что они объявились - джигиты...

Распаленный скачкой Ибрай ясно видел, как сова видит в темноте мышь, что было у юрты. И с облегченьем перевел дух, стал

успокаивать коня... У юрты творилось что-то невообразимое, несуразное.

Не иначе как Клубницкий принял толпу, шедшую из-за холма, за полчище врагов. И смертельно испугался. Унтер, глядя на Клубницкого, непрестанно орал: «В ружье!» Солдаты оборачивались на его крики, лязгали затворами, совали по патрону в рот, показывая, что готовы, но унтер ошалело кричал все одно и то же, не в силах понять, почему солдаты его не слушаются... Другие дергали Клубницкого за рукава, тыча пальцами то в сторону утеса, то в сторону опушки:

- Вон они, вон они...

- Сюда смотрите, сюда...

Несколько солдат, так и не дождавшись команды, пальнули, почти не целясь, по тем, что скакали за Ибраем. Следом еще двое-трое открыли стрельбу по джигитам на опушке уже точнее и прицельней.

Ни у кого из молодых джигитов не было ружей. От выстрелов и свиста пуль кони разом одичали -шарахались, брыкались, лезли на дыбы, несли куда попало. Тщетно всадники сыпали им плетей. А один,

раненый, вылетел из седла, упал на спину. Конь его ускакал с жалобным ржаньем.

- Стреляй! - закричал Ибрай пронзительно.

И на скаку, чуть привстав в стремях, выстрелил из берданки. Солдат у белой юрты упал.

Белая юрта ответила ружейными залпами. А на них ответили из обрезов и револьверов барымтачи...

Горы, леса отозвались гулким протяжным эхом. В сыром воздухе, подобно клочьям тумана, повисли сизые пороховые дымки.

Никогда прежде здесь не слышали такой стрельбы, такого эха. Но люди, шедшие от холма, не остановились. Шли и шли, крича и плача, как одержимые навстречу свисту пуль и сизым дымкам, и впереди - женщины с заломленными руками и мальчишки, немые, дрожащие, самые бесстрашные. Они не видели, как упал джигит, упал солдат, и не сознавали, что эта пальба несет смерть. А эхо их словно подстегивало.

И солдаты, стоявшие теперь стройной редкой цепью, стали опускать винтовки,

стали пятиться, оглядываться. Клубницкий наконец пришел в себя и обрел дар речи:

- Безумие... дурачье... Отставить!  
Прекратить огонь! Отступаем все... живо!  
Вниз по реке...

- Отступать, отступать! - закричали другие. - Не расходись, держись ближе...

- Нас же перебьют... Пошлите людей, кончите миром! - кричали третьи.

Но никто уже никого не слушал и не слышал.

Побежали пешие, бросив коней и коляску, бросив свои вещи, каждый сам по себе, без оглядки. Лишь солдаты держались строем, цепочкой, прикрывая господина Клубницкого.

У белой юрты остался один Даулетбек со своими приспешниками. Потом увидели и Жылкыбая, сидевшего в изнеможении тут же на травке.

Все имущество начальства, портфель Клубницкого с серебряной монограммой, а главное - списки были в руках красношапочников.

\* \* \*

Началось буйство. Молодые джигиты, как только поутихли выстрелы и стали слушаться кони, обогнали плачущих женщин, а они плакали уже от радости, и скопом налетели на белую юрту. Стали дубасить по ней дубинками, рубить секирами, топорами, пороть ножами. С гиком и свистом подскакивали все новые и новые джигиты. Места им не хватало, и они принялись за соседние юрты. Иные секли стенки и оголившиеся остовы плетьюми. Мальчишки лезли наверх, плясали на провисающих сводах, раскачивались на обломках и обрывках.

Русские чины да подчинки убежали, но в юртах застряли волостные и старшины. Пока шла стрельба, они прятались за сундуками и под кошмами. Все они были даулетбековцы, и юрты были даулетбековские, аула избранных и богатеев. Вытряхнули их джигиты, как крыс из мешков с брынзой. Они выползали наружу на карачках, прикрывая голову ладонями. Смех и гогот валились на их головы.

Затем джигиты, женщины, старики, дети ворвались в юрты и стали крушить все, что видели, что попадалось под руку. Рвали одежду, ковры, одеяла, подушки, но прежде всего бумаги, все бумажное. Были в юрте Клубницкого книги для дорожного чтения с чудными цветными картинками. Их вырывали из рук друг друга и раздирали в клочья. Большую конторскую книгу с линованными красным и синим страницами, в толстом переплете разнесли в дым - у каждого в руках был ее обрывок, нитка от корешка, шматок переплета. Женщины набросились на форменное пальто Клубницкого с кантами и бронзовыми пуговицами и вмиг обратили его в лоскутья. Мальчишки расшибали пуговицы камнями в лепешки, точно тарантулов. От того, что называлось списками, не осталось и следа. Вихрем кружились перья и пух из подушек и бумажный пух. Столбы пыли. Мусор. Прах.

Жылкыбай тем временем уже вздремнул с устатку. Но Даулетбек неусыпно следил глазами своих холопов за тем, что происходит с Клубницким.

Вначале погнались за ним молодцы Ибрая.

- Давай, давай! Окружай!  
Окружай! Ибрай удержал  
их:

- Стой, не лезь на рожон! Куда скачете!  
Пули глотать? Кинулись было в погоню и  
молодые джигиты,

поскольку места у юрт и в юртах было мало,  
а джигитов много и стрельбы не было.

Ибрай остудил и тех и других, собрал в  
кучу около себя. И замялся, заговорил,  
словно оправдываясь:

- Бегут они, пусть бегут... Нет у них  
коней. Далеко ли уйдут? А у вас нет оружия.  
А надо, чтоб было... Вон те жирные отстанут  
от солдат - их схватим. Переловим. Ну, а  
солдат... их вот как... Обрезать бы от города,  
загнать бы в горы. Возьмем оружие без  
кровопролития.

Мялся Ибрай оттого, что хорошо видел,  
как солдаты без команды начали стрелять,  
когда выскочили он и его люди, и как  
солдаты без команды кончили стрелять,  
когда подошли женщины с плачем-жоктау.  
Вот что стояло у него перед глазами...

Клубницкий и его люди шли не  
останавливаясь, скорым шагом вниз по реке и

прошли с версту. Ибрай с джигитами тянулся следом словно бы нехотя. Солдаты теперь только грозились винтовками в его сторону, но не стреляли. Лишь изредка, чтоб не подумали, что нет у них патронов, они пуляли разок-другой в белый свет. Ибрай поступал так же, чтобы и те не подумали, что он отступил. Сколько раз стреляли солдаты, столько раз и он разряжал свою бердянку.

Он был всегда первым на охоте и архара и дрофу добывал одним выстрелом. А сейчас мазал, но так, чтобы пуля провыла у самого уха то справа, то слева... И видел, как беглецы кланялись пулям. Казалось, он подгонял их стрельбой, чтобы резвей шагали.

- Так и гони, так и гони, - говорил он. - Но в людей не стрелять! Так целься, чтобы пуля шла под пятки, под пятки последнему... - И азартно крякал.

И вдруг он увидел, как двое усатых, но безбородых казаков, видимо, помоложе да полегче на ногу, бросили остальных и пустились бежать во весь дух в сторону. Куда они? Они бежали на луга; там пешему не уйти и не укрыться от конника нигде до самой стенки гор. Ибрай взглянул поверх их

голов и вскрикнул. Он догадался, кто его опередил и провел, как воробья на мякине. Навстречу двум казакам шел рысью табун отборных скаковых коней, табун бая Даулетбека.

Не просто поймать и обуздать скакового жеребца, но на передних, самых лучших в табуне, случайно оказались недоуздки... И казаки живо справились с делом. Они сидели уже верхом на двух гнедых с белыми звездами на лбу. Остальных табунщики галопом погнали назад.

Ибрай слышал, как Клубницкий истошно кричал скачущим мимо казакам:

- В Верный без передыху! Война! Иностранцы стреляют! Давай сюда эскадрон! Эскандро-он!

Не мешкая более ни минуты, почти не глядя, Ибрай отобрал человек двадцать - тридцать. Теперь и он кричал во все горло:

- Не упускайте! Не дайте им уйти!

Джигиты, распаляя друг друга криками, поскакали за казаками. Казаки скрылись за излучиной реки. Скрылись и джигиты.

До позднего вечера, дотемна гнал Ибрай Клубницкого и тех, кто при нем оставался,

до низовья реки, до устья лощины. К тому времени при Клубницком уцелели только солдаты, восемь человек, и один унтер.

Все люди Ибрая были целы. Клубницкий, впервые на своем веку увидевший, как могут быть злы пастухи, до того перетрусил, что не велел в них стрелять. Боялся он мести, лютой смерти. Солдаты, когда приходилось уж очень туго, подстреливали лошадей под всадниками, а Клубницкого заслоняли своими телами, выставив во все стороны штыки. Так и не смог Ибрай достать пульей господина Клубницкого, хотя тот пули стоил.

Когда стемнело, Ибрай увел джигитов назад.

«Ну и ну... - думал он. - Его счастье, что солдаты у него такие...»

Не знал Ибрай, что и тут его обошел Даулетбек. Не оставил богатый, щедрый бай господина Клубницкого без коня. Под утро отыскали русского барина верные рабы Даулетбека и спасли, отвезли его, живого, здорового, в город Верный; была за это Даулетбеку благодарность.

По пути в аул Ибрай и его люди подобрали пятерых раненых чиновников и увезли с собой, взяв у них наганы.

Поздней ночью вернулись в аул джигиты, посланные вдогонку за двумя казаками. Вернулись ни с чем. Как догнать казака на свежем коне, если твой конь с утра под седлом? Все же они ссадили одного пулей. Стреляли и в другого - ружье дало осечку. А Ибрай вгорячах сунул им только это старое ружьецо. Понадеялся на то, что их много.

Конечно, к утру в Верном все узнают, и жди теперь с часу на час кары.

Как подумали об этом красные шапки, так тут же и порешили:

- Чего бы это ни стоило, уходить! Всем откочевать. Белый царь не пощадит... Уходить - ничего больше не остается.

И в ту же ночь все аулы урочища Асы, все аулы красношапочников, кроме аула Даулетбека, поднялись со стоянок и тронулись в путь. Пошли туда, куда еще днем, когда порвали списки, послали гонцов на двух жеребцах при двух запасных. К черным шапкам, в благословенную долину

Каркара, колыбель рода албан. А дальше -  
куда глаза глядят...

## Глава седьмая

В большом доме Узака в тот день случилось, пожалуй, самое худшее.

Был приготовлен чай. Закусывая, люди разговорились - каждый сообщал, что знает. Узак, хмуро улыбаясь, сказал:

- Как их не благодарить, правителей! Это они нас, разоренных, кочующих по белу свету, собрали воедино... в одну грозовую тучу. Так, что ли?

- Собаки в ауле вечно грызутся, - отозвался Жаменке, - а как увидят волка, собьются в кучу. Так и люди. Несчастье - оно роднит!

- Эх... Был бы наш путь счастливым... - с горьким вздохом добавил Серикбай. - Услышал бы бог слезы детей... Послал бы нам милость.

Но Турлыгожа возмутился, вскричал:

- А ты что стонешь! Или не слышал, как красные шапки пощупали самого помощника уездного начальника? Разве это не счастье?

Узак усмехнулся; он был угрюм, словно чувствовал недоброе, и ждал его, и не хотел в этом признаться.

- Уж как ни гнули нас, как ни гнали, слава богу, - сказал он, - хоть под старость привелось увидеть... Ищут люди, находят друг друга, как дети одного отца! Об чем тужу - не видел я этого в свои молодые годы. Вот что мне жалко. Да что поделаешь...

- Ушли годы, - сказал Жаменке. - На что ушли? Сколько было раздоров... За что дрались? За то, кто первый почешет властям пятку, даст взятку Теперь вот одряхлели, волочим свои высохшие кости...

И так тяжело, так скорбно вздохнул Жаменке, что Турлыгожа на минуту потерялся. Что же на уме и на сердце у стариков? Что они сегодня хоронят - прошлые драки, раздоры... или самих себя?

- Интересно узнать, - сказал Турлыгожа с веселой хитрецей, - а кто же из вас в те самые молодые годы во время выборов на глазах у людей огрел камчой рыжего уездного... прямо по башке, между глаз! Так спрошу...

Турлыгожа напоминал Узаку случай пятнадцатилетней давности. Уездный тогда пообещал, что назначит волостным того, кого назовет Узак, а за это взял у него гнедого

иноходца, необычайной красоты коня. Но в разгар выборов слова не сдержал и встал на сторону противников Узак. Тогда Узак на большом собрании, выйдя вперед, сказал господину уездному: «А коли так, верни мне моего коня! Он тебе не по чину, не по чести!» Хлестнул его камчой так, что остался под шапкой шрам навек, сел на своего гнедого иноходца, стоявшего у коновязи, и уехал.

- Было дело, - сдержанно посмеиваясь, сказал Узак. - Сильный был... Упивался лихостью, молодостью. Не одного этого господина бил. А что проку? К чему это? Ссорился, дрался со своими же сородичами. Вот и прошли годы как во хмелю от никчемных удач, никому не нужной удали, громкой славы... Похмелье - моя слава, братья!

Сказал, как ударил. И опять подумал Турлыгожа: жестокое слово, зачем оно сейчас?

- Спрашиваешь самого себя: был ли ты батыр? - с мягким укором проговорил Жаменке. - Друг ты мой! Что суждено

сделать сегодня, нельзя сделать вчера. Что нынче дело, вчера только мечта!

Узак понурился упрямо.

- Жили-то мы вчера... в те времена, когда казахов, как баранов на мясо, делили на двенадцать частей... и мы еще назывались людьми! Нам бы жить под небом, а мы жили под кошмой. Сколько живу, не видел я казахов, которые шли бы под одним знаменем... бросили бы клич... Это как сказка!

- Это и вправду мечта, батыр, - тихо выговорил Турлыгожа, и на глазах его выступили слезы.

Жаменке задумался, одобрительно и печально качая головой. А сказал с неожиданной, словно бы беспечной обреченностью:

- Что тут скажешь? Прошла жизнь и пропала. Как ветром ее задуло...

Узак сжал на коленях кулаки. Блеснула седина на его выпуклых висках.

- А лучше не скажешь, брат, как некогда женщина одна молодая сказала... «Хотя ты и был прежде батыром, нынче твоя голова как

сухой кизяк!» Так она сказала. То-то и оно, что и нынче, и нынче...

Все в юрте затихли, услышав эти слова. Долго молчали, отставив пиалы с чаем и кумысом. Все поняли, кто эта женщина... Только она, единственная, могла так сказать. Тень юной строптивой Бекей вошла в юрту и встала над побелевшей головой отца.

- Помилуй бог... сохрани ее память... - с невольной скрытой опаской проговорил Серикбай, быстро переглянувшись с Турлыгожей. - Однако же, аксакалы, что мы слышим? Неужто прошли наши времена? И нынче разве мы не ближе к тому, о чем мечтали? Свершим что-либо доброе - останется в памяти людей на все времена! Пройдем огонь и воду с поднятой головой - чего желать лучшего? И помереть, так со славой доброй...

А за ним Турлыгожа сказал, не сводя горящих глаз с батыра Узака:

- Отец! Не узнавать вас... Будто прощаетесь с нами! Не хотим мы вашего завещания...

Узак насупился, отворачиваясь, глухо бормоча:

- Да уж ты скажешь... ты скажешь... И тут вбежал в юрту человек:

- Ой-бой, а вы тут сидите... а вы ничего не знаете... пристав уже окружил вас...

Тишина. Снаружи ни звука. Узак медленно перевернул свою пиалу и отчетливо сказал:

- Кап, кап. - Это значит: жаль, жаль. Жаменке властно поднял руку.

- Теперь кто сумеет, уйдет с этого собрания! Прокляну, коли не уйдете! Спасибо всем, вставайте.

Но было поздно. Снаружи донеслись выстрелы. В юрту ворвались солдаты.. И в глаза людям уставились дула винтовок.

Вошел урядник Плотников с двумя бородами и с двумя наганами - в правой и в левой. И ахнул:

- Э.. да вы и впрямь все тут? Здравия желаю... С благополучным прибытием!

Узак встал и каблуком сапога раздавил свою пиалу

\* \* \*

Сивый Загривок с того незабвенного дня, когда чудом остался жив и целехонек, помилованный черными шапками, не слишком-то поумнел. Зато весьма образовался. В эту смутную пору у него было много чтения. Меж Каркарой и Караколом непрестанно сновали конные вестовые с пакетами под сургучными печатями и предлинными казенными бумагами.

Бумаги были такого толка. Участились бунты в гуще киргизов (киргизами тогда именовали и казахов). Бунтовщики жгут села, грабят, избивают, изгоняют жителей. Сие чревато опасными последствиями. Преступники, хамы. Нельзя столь беспечно сидеть в мелких казачьих поселениях. Особо серьезна угроза тем селам, кои расположены среди инородцев. Необходимо срочно собрать и вооружить тамошних жителей. Денно и ночью печься о том, чтобы оружие не попало в руки бунтующих киргизов, равно как и мирных. Неусыпно оберегать огнестрельное оружие, равно как и холодное, из железа, включая ножи. Впредь до особых

указаний русским кузнецам не подковывать коней у киргизов. Разбойники, басурмане. Окрест ярмарки созвать ополчение добровольцев числом не менее ста - полутора ста душ. Держать в постоянной готовности, не распускать. Добровольцев брать из казаков и зажиточных крестьян. Бесспорно исключаются мужики батрацкого сословия, а также ссыльные поселенцы, лица без нательного креста. Безбожники, студенты. Всеми мерами увеличивайте контингент преданных людей из инородцев. Держите их в постоянном движении, дабы иметь каждодневные сведения. Востребуйте данные о вожаках и зачинщиках. Неукоснительно следите, нет ли на кочевьях неугодных властям приезжих из городов, особо Казани, Оренбурга, подозрительных занятий, запрещенных бумаг, как печатных, так и писанных. Подлецы, бумагомараки. Ждем важных указаний из Верного, из губернаторства...

Сивый Загривок вслух читал бумаги и старался как умел. Из сел и станиц Жаланаш, Нарышкол, Саржаз взял отменных добровольцев. Самолично их опрашивал,

перебрал каждого бородача по волоску. Теперь у него под рукой - сотня орлов! Многие с толстой мошной, со своим оружием. Они, как престольного праздника, ждали приказа выступить в аулы, с которыми враждовали из-за земли. Это была главная опора его благородия, злая сила надежней роты солдат.

Была у него и другая сила, тайная. Ее возглавлял один старый знакомый, человек невзрачный, но ему искусно помогал сам Тунгатар, умнейший бай.

Пристав жил с ними душа в душу. Эти люди как исполнения мечты своей жизни ждали того дня, когда будут схвачены и посажены за решетку Узак и Жаменке.

Тот день выдался хлопотным и беспокойным. Утром пришло ужасное известие из урочища Асы. Его привезли купцы, видевшие, как барымтачи Ибрая гнали господина помощника уездного вниз по реке Кокозек. Купцы были русские: ехали из Иссыка и Тургеня на ярмарку. Увидев Ибрая, они отделились от татар и узбеков и погнались лошадей; не сомкнули глаз всю ночь, а на рассвете разбудили урядника.

Накануне вечером пристав распечатал приказ -немедля по получении арестовать албанских вожаков. «По ранее вами представленному списку, а также по дополнительному, всего - семнадцать человек».

Поистине отменная работа стояла за тремя словами: всего семнадцать человек. И уже в этих словах чувствовалось поощрение. Но легко сказать - немедленно по получении! Вообще, казаха, даже самого завалящего конокрадишку, брать - все равно, что ловить ветер в поле, а этих и подавно. Вчера допоздна и утром на свежую голову прикидывали, рассчитывали, кого, как и где заарканить. А тут еще купчишки разбередили душу...

Но в час пополудни в пыли и в поту прискакал на ярмарку старый знакомый со своим джигитом и спешился у канцелярии, нимало не скрываясь. Привез подарок царский.

- Все... все там... в Танбалытасе! Кроме них, ни единой живой души в ауле. Старец один глухой собирает шалфей. И эти еще...

кони, кони красношапочников... из урочища Асы!

- Ну! Ну! - вскричал следователь, трясясь от нетерпенья.

Пристав скомандовал:

- Ну, Плотников! Рожа твоя двухбородая! Гляди у меня. Упустишь - закатаю. - Потом позвал денщика: -Эй, там... стакан водки господину Рахимбаю.

Что было дальше - известно. Разом всех изловили. Увезли, как говорится, на одной веревке. И на ярмарке скрыли от глаз людских.

\* \* \*

Вся Каркара содрогнулась. Одни плакали, другие били себя в грудь кулаками. Выли от боли, шатались, как слепые, будто камчой ударили по глазам. Горе, горе. Никто не знал, что делать, как быть. Только и делали, что поверяли друг другу свою муку. И кляли мучителя. И стар и мал возглашал проклятья:

- Чтоб ты сдох, чтоб ты света невзвидел!  
Чтоб ты сгорел и чтоб имя твое стерлось!  
Чтоб тебя Керман наказал!

Не иначе как от этих проклятий Сивый Загривок должен был пропасть, сгинуть, потому что Керманом звали самого страшного черта 1916 года - германского кайзера.

Это были часы великой растерянности. Даже вести из урочища Асы, казалось, не ободрили, не порадовали. Люди слушали про то, как не убоялись красные шапки ружейного огня, как изорвали в пух списки, как солдаты пятились от женщин, певших жоктау, и словно бы не верили своим ушам.

Понемногу, однако, стали утирать слезы, собираться с мыслями.

И стали поговаривать так: пойдём на ярмарку опять всем миром, как и в тот раз... Скажем строго: отдайте нам ваших старших! Скажем, как оно есть: разве они виноваты? Вся вина наша, вините нас, простых смертных. Хотите наказать - наказывайте нас всех...

Так толковали повсюду в аулах. И потекли опять черношапочники живыми ручьями по многим тропам и дорогам в сторону ярмарки.

На этот раз, правда, народу было не так много. Столько людей, как тогда, собрать не

сумели, потому что на иных летовках и так рассуждали вроде бы вопросительно:

- Допросят, глядишь, и отпустят? Посмотрим сперва, что с ними будет?

Туманно было в душах этих людей. Да и те, которые поднялись, шли не так дружно, как в первый раз, шли вразброд. Когда у мирского тела нет головы, ведет сердце, а в сердце хоть и была вера в свою правоту, но больше веры в милость божью.

Раньше и охотней других собрались люди с летовки Донгелексаз. Человек двести. Их вел крамольный волостной Аубакир. Они шли, подбирая по пути людей из других мест, как речка подбирает ручьи, и стало их триста.

Ехали рысью по цветущей долине. Каркара горела и искрилась зеленым огнем, как и в июле. Но теперь не слышно было ни гама, ни гика, ни свиста, ни пенья. Не слышно было человеческого голоса. Не бахвалился Баймагамбет, не смешил Жансеит. Глухой, унылый топот.

Неподалеку от ярмарки им навстречу внезапно, как из засады, выскочили человек тридцать - сорок конников, не похожих на

солдат, но вооруженных не хуже, с ружьями, саблями, пиками, в хороших, не смазных, а наваксенных сапогах. Сидели они в седлах подбоченясь, покручивая ус, скаля белые зубы. А их главный, казак с пегим от седины чубом, свободно говорил по-казахски.

- Эй! Стой, не балуй! - крикнул он, точно на лошадь. - Нечего вам делать на ярмарке. Давай по домам. Расходись! Нынешний день торговли не будет.

Этими словами он спроваживал сегодня многих бродивших у ярмарки, легко узнавая албан по тоскливым, ищущим глазам. Они искали тюрьму под названием гауптвахта... Но со вчерашнего дня, как пригнали арестованных из Меченого Камня, путь казаху на ярмарку был закрыт.

- Это мы знаем, - сказал Аубакир. - И вам надо знать, кто мы... Мы посланцы народа. Посланы для переговоров. Хотим узнать, что с нашими людьми. Высказать свое прошение. А потому - пропустите нас.

- Ишь ты! Пусти его... Таким вот гуртом не высказывают и не просят. Поворачивайте!

В толпе зашумели:

- Хотим увидеть своих родных, говорить с начальством. Разве вы начальство?

- Они не виноваты, виноват народ, мы виноваты! Вот что хотим сказать.

- Заявление скажем, заявление!

А затем передние толкнули коней и пустились трусцой гуськом, как по команде «справа по одному», в объезд русских конников.

Казак с пегим чубом вырвал вон из ножен саблю.

- Назад! Не пройдешь, дудки... Не велено вас пускать. Вас не первых завернули...

Аубакир крикнул в сердцах:

- Как это не велено? Как это может быть? Что ж это за начальник, ежели не желает выслушать народ?!

Казак искоса посмотрел на него, подумал с ленивой усмешкой и сказал:

- Ну, я вас упредил. Всех не пущу. Давай одного-другого. Хотя бы и ты! - Он ткнул в сторону Аубакира саблей. - Поехали.

- Поеду! Один поеду... - сказал Аубакир, трогаясь следом за казаком.

Картбай, дерзкий малый, поехал позади Аубакира, точно оруженосец.

Всех остальных стали теснить подальше от ярмарки - с усмиряющим хохотком, смешливо приговаривая:

- Давай, давай, давай. Вот ваши вернутся, приведут и тех... Враз и освободят! - И отогнали далеко.

По дороге к канцелярии Аубакир увидел доброго Оспана, невольно закивал ему, поворачивая коня, но тот, увидев Аубакира в сопровождении казака с голой саблей, отвернулся и резво пошел прочь, втянув голову в плечи, как курица под дождем.

- Уходишь... - вырвалось из души у Аубакира. - Катись, катись, тухлое яйцо!

Оспан не оглянулся.

Сивый Загривок и следователь сидели, беседуя после сытного обеда, розовые от порядочного возлияния, когда казак ввел в канцелярию Аубакира и Картбая.

Сивый Загривок как отворил пасть, так, кажется, и забыл про все на свете. В глазах его было умиление.

- А-а! - прорычал он наконец, и захохотал, затрясся, закашлялся. - Кого я вижу! В нашем полку прибыло. Вас-то нам и не хватало. Сам пожаловал - хвалю! Ты у

меня, милый, давно на примете. Еще с первой огласки указа вот где сидел... - И он показал на то место, где печень.

Аубакир поклонился, здороваясь, собираясь сказать, с чем пришел... Но его не стали и слушать.

- Ты волостной! - кричал пристав, словно любуясь хрипотой своего голоса. - Тебя зачем поставили? Лясы точить? Забыл царя, власти! Мало того что смутьянам потачку даешь, сам туда же. Нет смутьяна хуже тебя!

Аубакир ответил без боязни, как равный равному:

- Высокого, ты мнения обо мне, господин. Но смутьянство мне не пристало. Съесть меня хочешь живьем? На здоровье... Но бог свидетель, за мной этого нет греха - смутьянства. Ничего ты не можешь сделать невинному человеку! А смутьян - это ты, господин. Ты - темный грешник.

- Убрать... - сдавленным голосом сказал пристав казаку с пегим чубом. - Отведите его и закройте. А этого - в шею!

И как ни противился Аубакир, как ни пытался что-то еще сказать, его отвели и заперли, а Картбая вытолкали в шею.

### Глава восьмая

Картбай, когда его выгнали из канцелярии, с ярмарки не ушел. Смиренно, с видом побитой собаки он поплелся за конвойными, которые вели Аубакира в кутузку под названием гауптвахта. И видел, как отомкнули железный замок, отодвинули железный засов и втолкнули в темноту нового узника. И слышал, как оттуда донесся зычный голос - в надежде, что его услышат на воле:

- Передай привет народу! Пусть держатся вместе. Пусть не боятся... - Это был голос Турлыгожи.

Картбай ответил мнимо жалобным возгласом «уа! уа!» и повел прочь коней, своего и Аубакира, будто бы уходя с ярмарки. Часом позже удалось ему незаметно пробраться в дом купца Султанмурата.

Тот был вне себя от того, как чудовищно повезло приставу и уряднику. Султанмурат бранился, но ругал не их и не Рахимбая...

- Наивные люди, наивные люди, -  
твердил купец. Он ожидал худшего и не  
ошибся. Видимо, пристав  
все же опасался, что его гауптвахту  
расшибут и выручат арестованных. И  
решил не дразнить удачу.

Ночью, когда ярмарка спала, тихо  
зазвенели замки и засовы. Урядник вывел  
наружу Узака, Жаменке, Аубакира и еще  
семерых, всего десять человек. Их  
посадили на две повозки, оцепили  
двойным кольцом конвойных и повезли.

Султанмурат и Картбай были настороже  
всю ночь и слышали, как старый Жаменке  
крикнул тем, кто оставался:

- Прощайте, прощайте... Дай бог  
свидетелься на этом свете. И пусть предки  
будут нам опорой.

Турлыгожи и Серикбая на повозках,  
кажется, не было.

- Куда! Куда их? - шептал Картбай. -  
Убьют?

- Может быть, - сказал Султанмурат.-  
Плохо дело. Везут, ясно, в Каракол! Бери  
обоих коней, скачи.

Только бы тебя не перехватили. Это  
последний случай - отбить, спасти...

Картбай сумел выбраться с ярмарки невидимкой, между двух расседланных, якобы пасущихся коней. И поскакал на Донгелексаз.

Взошла луна. Каркара осветилась холодным светом. Дорога, по которой укатили под конвоем две повозки, вела туда, где верст через тридцать хребет Алатау поворачивал в сторону киргизских земель. Катили они с громом; лошадей погоняли, и они то и дело переходили с рыси на галоп. Это были хорошие пароконные повозки на железном ходу, а лошади сытые, резвые. До Каракола - одна ночь пути!

Конь под Картбаем взмок, и он пересел на другого. Ему отчетливо виделось то место на дороге, белеющее под луной, как конский череп, куда он приведет засаду. Поспеть бы, только поспеть бы! В эту ночь ради Узака, ради Жаменке жизни не жалко.

Когда он прискакал на летовку, аул спал. Спали Баймагамбет и Жансеит, вернувшиеся с ярмарки без Аубакира. И сон их был крепок по молодости и с

устатку. Кони, обычно заарканенные, были отпущены поспастись...

Что сделалось, когда Картбай поднял людей на ноги! Все кричали... Все думали, что Аубакир просто задержался в канцелярии. Что же, ему видней, он волостной! Ежели было бы что не так, он прислал бы Картбая... А Картбай, чудак, почему до самой ночи не дал знать, что с Аубакиром?

Никто на летовке не ждал, что будет нужда в силе, собранности и быстроте немедля, в ту же ночь.

Собрались, однако, без лишних слов, без всяких споров человек сто, вооружились кто чем и поскакали на юго-восток, не жалея коней, не думая о себе, готовые положить голову в схватке с конвоем.

По пути растянулись. Скакали и по двое, и по трое, и поодиночке. Но передние полсотни человек, а может, больше, и среди них Баймагамбет и Жансеит, выскочили на дорогу, которая огибала Алатау, вместе, дружно. И стали кружить у того места, которое белело, как конская голова, остужая вспотевших коней,

поджидая отставших. Когда же собрались все и встали в засаду, уже рассветало. Где же, однако, конвой?

На дороге показались три телеги с одинокими возницами. Судя по шапкам, уйгуры. Увидев конников, они в испуге погнались лошадей. Их остановили. Оказывается, они ехали из Каракола, выехали в полночь. А испугались оттого, что приняли джигитов за казаков... Этой ночью уйгуры уже встречали казаков, и те отогнали их далеко от дороги, потому что кто-то сквозь гром телег и топот кричал в темноту по-казахски: «Привет Каркаре! Держись дружной!» Где это было? Отсюда не видно, за Курдайским перевалом. Сейчас они небось уже под Караколом...

Баймагамбет со стоном склонился к гриве коня и стал бить себя кулаком по голове.

- Вот до чего довела нас беспечность... Из-за собственной дури страдаем. Ни за грош отдали самых славных людей. С кем теперь будет народ? На кого опереться? Сонные мы души. Неужто не вызволим хотя бы тех, кто остался на ярмарке? Опять посмеется Сивый Загривок? Любой ценой...

следующей же ночью... налететь бы... разбить ярмарку... выручить наших... а приставу плетей...

И еще много подобных речей слышали от Баймагамбета, и от Жансеита, и от других, возвращаясь назад, в Донгелексаз.

Головы понурили и люди и кони. Горевали долго. Горевать джигиты умели.

\* \* \*

Утром две пароконные повозки с каркаринцами, покрытые грязью и пылью, медленно, осторожно въехали под конвоем в Каракол.

Этому тихому городку, а скорее поселку, суждено было стать свидетелем громких событий. День и ночь Каракол жил под страхом нападения сильных, мужественных, мстительных киргизов.

Всем ветрам было открыто это селение, отовсюду нависла угроза. Но сюда стекались и стекались из окрестных и дальних мелких сел мужики и казаки, толпами брели женщины, дети и старики. Но это еще больше нагнетало страху в

Караколе; сюда приходили обиженные, ограбленные и осиротевшие из сел, претерпевших нашествие, из мест, где лилась человеческая кровь. Это уже не люди - беженцы; у всех разгромлены дома, отобран скот, сожжены хлеба, многие потеряли близких и родных, отцов, сыновей и мужей, видели их кровь. И не умолкал в Караколе сиротский и вдовий плач.

Лихая шла пора. Казалось, что многие годы молчавшие горы, безголосые, навек онемевшие дикие камни вдруг заговорили, и в каждой щели необъятного Алатау горели костры жестокой мести. Старая поганая политика царя натравливала людей на людей, и люди с трудовыми черными руками, соседи, ненавидели друг друга и враждовали из-за земли, на которой жили, из-за пастбищ и воды. И грабили, и жгли, и били друг друга: мужики киргизов, а киргизы мужиков. Черная кость с остервенением лупила черную кость. И множились и множились покойники и сироты.

Окрестности Каракола наполнялись кровавым маревом и зловонием. Повсюду валялись неубранные, преступно брошенные тела убитых. Смертный грех всех народов и верований, грех убийства и грабежа растекался по селам и аулам, как зараза. С каждой ночью все хуже, все страшней. Земля и скалы Алатау вопили, а человечьи сердца словно каменели.

Днем и ночью шли в Каракол беженцы, ища крова и защиты. И днем и ночью пригоняли в Каракол арестантов, смутьянов и душегубов. Маленькая тюремка глотала и глотала живых людей, подобно ненасытному обжоре. А маленькое селение поглощало людские реки, как та шелушинка проса, на которой аллах уместит весь бесчисленный восемнадцатитысячный мир в день всемирного потопа.

По ночам живым в тюрьме становилось просторней, а в овраге близ Каракола тесней мертвецам. Волки и барсуки, черные и серые вороны сбегались и слетались в овраг на жуткий пир. Там

лежали красноликие черноглазые степняки.

Давно ли, кажется, вчера, были те ясные мирные дни, когда румяные дети веселили крепкоруких отцов... Ныне твое дитя посинело от слез, а ты сам обратился в вонючий кусок мяса, который терзают пожиратели падали. А вот другой гниет в черной луже, а третий уже высох, как мумия, на жгучем солнце. И сердце, вчера еще полное радости жизни, почтения к старцу, любви к женщине и к ребенку, сморщилось, как увядшая кисть винограда, оно пало, познав самое гнусное оскорбление, стыд и ужас смерти.

Мимо этого оврага проехали и каркаринцы, отпетые преступники. Прикрывая рукавами рты и носы, они безмолвно переглядывались, без слов понимая друг друга, стараясь скрыть судорожную дрожь.

\* \* \*

В Караколе их встретили с интересом и не заставили долго ждать. Едва въехали

повозки в тюремный двор, тюремщики повели троих на допрос - Узака, Жаменке и Аубакира, дав им наскоро умыться.

Говорили, что их затребовал к себе пред грозные очи сам уездный. Это был сравнительно молодой, рыжий и очень тучный, болезненно-бледный человек, известный своей злостью и жестокостью. Но в конторе оказалось, что их ждет еще другой, большой начальник, из тех, коих каркаринцы до сей поры не видывали. То, что он большой, сразу поняли по тому, как он строго, сдержанно и брезгливо держался. У него были бабьи руки и бабье лицо. Это был «паркурол» -прокурор из Верного.

В минувшие двое суток каркаринцы сговорились: что бы ни было, вытерпим. Вчера на гауптвахте Узак и Жаменке встретили Аубакира с холодком, ибо он дался в руки Сивому Загривку еще нелепей и глупей, чем они сами. Потом общая судьба и общая ошибка их помирили.

Страшен был Каракол. Каркаринцы были подавлены, но не унижены. Были скромны и учтивы, но держались свободно.

«А мы ни в чем не виноваты», - говорили их глаза. «Виноваты, что опозорены», - говорили их души.

Прокурор выбрал для начала Жаменке. Белая борода и чистые морщины старика показались ему приятней угрюмых бровей Узака и искусанных губ молодого Аубакира.

Держа двумя пальчиками карандашик и нежно-презрительно тыча им в сторону аксакала, прокурор с ласковым барским отвращеньем спрашивал, как его имя, сколько ему лет, какой он волости и аула. Толмач-узбек внятно и негрубо переводил по-казахски.

До крайности уставший с дороги Жаменке выглядел уж не таким молодцом, как прежде. Но в лице его, в позе и в жестах был обычный ненаигранный покой старого мудреца. Он отвечал одним-двумя словами, разве что помаргивал чаще обычного то лукаво, то как бы рассеянно.

«Что толку сейчас во мне? - думал старик. - Но раз меня допрашивают, значит, я нужен? И не этому барину. Для него не

открыл бы рта. А раз нужен, буду отвечать, не ленясь душой».

- Это правда, что ваш род, ваше племя... э... противится реквизиции? Не дадим джигитов? Это правда, что так говорят?

- Правда. Говорят.

- Кто же смущал... подстрекал... научал народ дурным словам? Кто приказывал так говорить? Кто главный?

- Главного нет. Нет главного... Народ есть. Я могу сказать худое слово, а народ не может. Неохота нам давать джигитов.

- Почему же не-охо-та?

- Говорят, что несправедливо это. Правители несправедливы. Отобрали землю, воду, загнали в пустоши, в камни, в горы!.. Мы исправно платим подати, налоги, делаем что велят. А нас держат в черном теле, как врагов! По сей день мы вам неродные... И еще говорят, что обманывают. Правители обманывают. Обещали - не брать нашей земли. Обещали - не брать в солдаты. На словах - гладите по головке, на деле - пинка в зад... И еще говорят, что туги стали на ухо. Правители туги на ухо. Жалуемся - не слушают.

Наказывают. Разве такие правители хороши? Разве охота таких слушать?

- Так. Не-о-хо-та. И что же, совсем наотрез неохота или при известных условиях войдете во вкус и приохотитесь? Есть среди вас трезвые головы, авторитеты, готовые уступить, ежели вам пойдут навстречу? Так сказать, условно говоря...

Жаменке насторожился. Все силы в нем напряглись, точно перед капканом, невидимым под чистым, нетоптанным снегом. Вот уж таких речей здесь, в Караколе, он не ожидал!

- Народ говорит, что согласен, - твердо сказал Жаменке, - пусть джигиты идут, но не на черную работу! Пусть их берут на ту службу, где учат солдатскому делу. Пусть они будут настоящими солдатами. Кабы с самого начала вы объяснили бы, обещали бы это...

- Но ведь тот, кто пойдет на тыловые работы, останется цел и невредим... А солдата шлют в огонь, на фронт! Знаете вы это? Зачем же вам в солдаты?

- А мы такие же люди, как ваши мужики... И наши джигиты - мужчины, а не бабы. Хотим умирать за свою землю!

Пусть дадут нам оружие в руки... Так говорят.

- Лю-бо-пыт-но... У кого же, собственно, вы просите оружие? - с откровенной издевкой добавил он; вопрос был как кинжал.

- У вас... - ответил мудрый простак. - Пусть дадут джигитам оружие при всем народе. Пусть учат воевать - на глазах у народа. Не знали мы прежде такой напасти. Хотим знать! А когда люди увидят, что их дети, сыны при оружии, учены, могут постоять за себя, успокоятся. Берите джигитов, шлите на фронт.

- Слушай, старик. Ты, насколько можно понять, аксакал этого народа. Человек, хотелось бы надеяться, разумный. Как же ты лично думаешь и располагаешь?

- Как все. Так же.

- Но это же глупые речи! Ребяческие прожекты. Ни у какого народа так в солдаты не берут. Ни у индусов, ни у китайцев, ни у арабов, ни у негров. Пустейшая фантазия. И твой святой долг - объяснить своим единокорядцам, что это бред, с потолка взято, из пальца высосано.

Не будет так, как они хотят, - ни ныне, ни присно, ни во веки веков!

- Тогда они не послушаются.

- А ты убеди народ. Дай разумный совет. Это в твоих силах, в твоей власти. Твоя должность! Иначе будет плохо... Будете жестоко наказаны. Бес-по-щад-но. Понял ты меня? Сделаешь, как я сказал?

- Спаси, господи... Как же я это скажу! Нет у меня такой власти. Вон ты какой начальник! Ане слушаются тебя. А я простой смертный, как и все. Вот моя должность.

- Не ври, не ври... Не люблю. Ты голова своему роду. Ты скажешь - тебя послушают.

- Я старый человек, господин, я не вру.

- Ну, словом, так, - неожиданно перебил прокурор, бросив карандашик на стол и изысканно-любезно оскалив золотые зубы.

- Либо ты понудишь своих темных безумцев повиниться - это одно, и безоговорочно дать джигитов - это второе... Либо пеняй на себя! Будет тебе такая кара, о какой и не слыхивал ни один казах. Отвечай!

Жаменке слабо, устало улыбнулся. Этот голос был ему знаком.

- Не стану тебе врать, господин большой начальник... Это дело не по мне.

- Не, ты выполнишь, что тебе приказывают. Заставим, старик, заставим! Но лучше будет, если ты по своей воле...

- Не могу.

Прокурор взвизгнул точно от щекотки:

- Старый ты пес... Сделаешь, сделаешь! И Жаменке невольно рассмеялся.

- Сделаю, не сомневайся, - сказал он, - коли оживет у старого пса... - И запнулся, озорно блеснув глазами.

- Уведите, - холодно-спокойно сказал прокурор. - И ко мне другого.

Ввели Узака. С ним разговор был короче.

- Слышал я, чего ты хочешь, - сказал Узак прокурору. - Зря тратишь слова. Не сможем мы понять друг друга. Отведи меня к самому старшему начальнику.

- Что за наглость! Что это значит?

- А то, что с тобой не об чем мне разговаривать. Старый-то орел тебя крепко

клюнул. Хочешь, чтобы я? Нету меня для тебя ничего - ни в сердце, ни в голове.

- Так-таки нет? И больше ничего не скажешь?

- Скажу. Ты насильник. Подлый насильник. О чем можно с тобой говорить - о чести, или добре, или любви?

Прокурор закричал фальшивым бабьим голоском:

- Здесь я спрашиваю!

- Спрашивай. Отвечать не стану.

И не стал. Как ни ершился и как ни язвил прокурор, Узак молчал. Грозить батыру было смешно. Прокурор приказал увести и его.

Пришла очередь Аубакира. Он кипел, глаза налились кровью. Он сам себя не помнил.

- Я вот что вам скажу: сделайте так, как сказал аксакал! Или верните казахам все, что у них взяли, -землю, воду... и кровь, которую вы пролили... Тогда мы в расчете! Вот и весь мой ответ.

Прокурор с брезгливой миной склонился к уездному:

- И этот мальчишка, болтун, у вас волостной управитель?

- Черт знает... Каркаринская яма! - сквозь зубы выговорил уездный.

Потом прокурор собрал всех троих вместе и словно бы сизнова принялся их разглядывать, изящно поигрывая карандашиком, сияя золотыми зубами.

- Вот видите ли, мы каковы... Черные шапки... Приятно познакомиться, - сказал он зловеще.

## Глава девятая

Безрадостно и бессмысленно тянулись дни и ночи в тюрьме. С воли никаких вестей, ни слуху ни духу. Из соседней камеры тоже ни голоса, ни топота. Надзиратели казались глухонемыми. И только новые узники приносили разрозненные противоречивые слухи, и жужжали они в ушах назойливо и однообразно, как осенние мухи.

Будто бы уйгуры подняли восстание... Будто бы схватили киргизских вожаков и заточили... Будто бы кашгарцы пошли на белого царя войной, хотят освободить мусульман... Чему верить? Чему не верить? На что надеяться? Не знаешь и не поймешь, стоит ли жить и живут ли еще где-либо люди.

Узак и Жаменке не верили ничему, ни на что не надеялись, и, глядя на них, молодые молча валились на нары, часами лежали пластом.

Есть птицы, которые не живут в неволе. Есть и люди. Узак и Жаменке медленно умирали, не умея и не желая выплеснуть из души смертную тоску.

Есть звери, которые не выносят униженья. Есть и люди. В ту последнюю минуту и своем доме, когда Узак раздавил ногой пиалу, он раздавил самого себя. А Жаменке проклял себя, когда услышал, что аул окружен. А потом Аубакир... Он их добил. Они чувствовали, как там, на воле, беспомощен род албан. Это -их позор, их вина.

По ночам ждали худшего. Вслушивались в походку надзирателя, в позвякивание ключей и сквозь стены видели овраг под Караколом... С утра, как только рассветало, а рассветало мучительно долго и поздно, принимались всей камерой гадать на кумалаках...

Лучшие кумалаки - бобы; годятся и камешки, хлебные зерна. Аубакир припас горошины. Горсть горошин - сорок одну штуку - бросали или роняли из ладони и потому, как они ложились, судили о будущем. Толковали раскладку умельцы, знатоки, а гадали все, с нетерпением ожидая и подбирая новые поводы погадать. Узак и Жаменке тоже заглядывались на кумалаки застывшими, словно

за мороженными глазами, как на огонь костра.

- Эй, Аубакир, - окликнул молодой Сыбанкул, - что же это мы сегодня? А Кашгария? Из головы вон? Если уж на что гадать, так это... Давай-ка сюда свои кумалаки.

- Все-таки добрая весть, - подхватил его сверстник Нуке. - Говорят, доброе слово - половина счастья. Чует мое сердце, есть что-то хорошее в той стороне...

Аубакир выдвинулся на середину нар, молча раскинул кумалаки. И все замолчали, сгрудившись на нарах и со стесненным дыханием разглядывая, как легли кумалаки. Затем стали подталкивать друг друга, как бы опасаясь сглазить: «Ты скажи...» - «Нет, скажи ты...». И как домбристы касаются струн, так же бегло касались кумалаков, тех, что легли кучками по три-четыре, и особо тех, которые легли посередине. Там, в сердце, лежали три горошины; их касались с нежностью, словно колдуя.

- Это, пожалуй, самые удачные кумалаки. Как легли, как чудно легли!

- Ох, если по ним судить... пришла и весть о них и сами они пришли...

- В том-то и дело: есть тут намек! На бой... кровопролитный.

- Что бы ни случилось, уже случилось, - сказал старший из толкователей, Карибоз. - Даст бог, освободимся живые, здоровые. Конец будет хорошим.

И все, смотревшие на кумалаки, заговорили громким молитвенным шепотом:

- Да сбудутся твои слова. Пусть твоя ворожба будет пророческой. Сам бог вложил слово тебе в уста.

Но Аубакир покачал головой, не соглашаясь. На него уставились как на богохульника.

- Нет... Не то вы говорите, что есть... - сказал Аубакир. - Где вы это увидели? Если я хоть что-нибудь смыслю в кумалаках, они плохи... Будет несчастье. Половина из нас погибнет, половина спасется.

Все закричали:

- Камень тебе в рот! Прилипни твой язык к камню!

- Тьфу, тьфу... Плюй на землю! - скороговоркой сказал Нуке.

И Аубакир плюнул.

А люди внезапно стихли и бесшумно расползлись по нарам, потому что в дверной глазок смотрели два светлых глаза...

Не могли степняки привыкнуть к этим глазам. Они всегда заставляли врасплох и прокалывали насквозь, как иглы. Они словно проникали в самое сокровенное и внушали заячью оторопь. Они могли сбить с ног, проглотить живьем! И, конечно, сглазить и тем извести. Два светлых, подолгу немигающих глаза...

Жаменке, лежавший в дальнем от двери углу, почувствовал в камере неладное, взглянул на дверь, встретился со светлыми глазами и вдруг протяжно, слабенько, певуче закричал, как кричит раненая ланка.

Закрылась дыра в двери, убраны кумалаки и еще прошло время, за которое можно успеть вскипятить молоко, а в ушах людей все звучал этот странный крик.

Дальше было то, чего не предвидели ни люди, ни кумалаки.

Жаменке ворочался на нарах, хрипло вздыхал... Думали, мается душой, но старик снова вскрикнул, зажал руками живот и свернулся в комок.

- Не пойму... - проговорил он словно бы удивленно. - Что это со мной? Что такое творится? Лежу и не могу улечься. Жжет у меня внутри... Помираю я, что ли?

Люди повскакивали с нар, столпились около Жаменке.

- Что он говорит? Что с ним случилось?

- Только что был здоров... Отчего это?

- Где у тебя болит? Как болит? - спросил Карибоз, склонясь к искаженному лицу старика.

Жаменке тихо, жалко кряхтел, обессиленный. Он был совсем плох.

- Это неспроста... Что бы ни случилось - неспроста... Как поел утром, все нутро горит. Уж долго я терплю. Не могу больше... Невмоготу жить... Наверное, это конец. Смерть моя... Кто жив будет - поклонись жене, детям, народу нашему. Прощайте все. Милые вы мои...

Его то скрючивало, то судорожно распрямляло и вытягивало. Он бледнел, синел на глазах, будто кровь из него выпивали. Дыхание, тяжелое, учащалось и укорачивалось. Глаза помутнели, побелели. Они слепли. Незаметно он их закрыл... Крепко закрыл. И больше не открывал, будто не хотел видеть никого, хотел уединиться и остаться с глазу на глаз со своей мукой.

Люди стояли перед ним, сцепив руки, точно в молитвенном порыве.

Хорошо ли, плохо ли он жил, а прожил жизнь, большую, в большой чести, многое видел, немало сделал. Он был родным человеком каждому из каркаринцев, был им отцом, был головой. И вот судьба подводила последнюю черту его делам, мечтаньям и заблуждениям.

Когда тебе за семьдесят и жил ты трудно и честно, смерть светла, она - заслуженное отдохновение. Но помирать в тюрьме - тяжкая кара.

Смертный недуг душил Жаменке. Снова и снова его тело содрогалось и извивалось в конвульсиях, в жару горячки, как будто его

разрывали на части. Он бредил, и невнятные речи его были полны яда, как и его тело. Но когда он на минуту приходил в себя и собирал силы разума и сердца, он говорил - и нечем было его утешить:

- В неволе... подыхаю... На поле бы мне... помереть...от ран... Мои старые... старые кости... сложить... за молодых... отомстить... Милые вы мои...

Кажется, это и были его последние слова:

- Милые вы мои.

На глазах у людей наворачивались слезы. И думали люди, глядя на Жаменке, худо и страшно, как будто яд его бреда капал в их души. Утром сегодня стражник принес бурду, называемую супом. «Это старику...» -сказал он, ставя миску перед Жаменке. А тот поклонился, благодаря: «Рахмет...» Был он невесел, но проснулся раньше всех. Обыкновенно они старики, знают наперед свой день, ждут его. Жаменке не ждал.

Узак ждал... С первого дня ареста, когда пристав смеялся, тыча в батыра пальцем, с

первого допроса в Караколе, когда увидел бабьи руки и бабье лицо прокурора...

Узак ждал для себя и для Жаменке кары и муки и на том успокоил свое сердце. Ни слухи о кашгарцах, самозванных спасителях, ни слухи об уйгурах, друзьях и братьях, ни нынешние кумалаки, поначалу счастливые, под конец устрашающие, его не тронули. Он смотрел на Жаменке бесстрастно, беззвучно, и глаза его были сухи.

Жаменке был его старым, закадычным другом. Целую жизнь они прожили душа в душу, понимая друг друга с полуслова, по движению бровей. В их времена не было братства крепче и краше, чем между ними. В любом деле они искали и находили друг друга без труда, без спора. И то, что подчас казалось загадкой, каверзным, запутанным делом, они разгадывали и распутывали вдвоем с одного взгляда. Они любили и верили друг в друга и вместе были нужны людям.

Случись это в степи, под родной крышей, Узак сейчас плакал бы, обняв голову Жаменке. Он прощался бы с ним, и

был бы безутешен, и не стеснялся бы своего горя. В тюрьме же лить слезы - бесчестье.

«Сегодня твой черед, Жаменке, завтра черед мой. Ты бы не понял меня, если б я убивался над тобой, говоря: брат, ты умираешь! Ты бы подумал, что ошибся во мне... Что бы ни было, вытерпим. Так мы сказали с тобой, не сговариваясь. Смотри же, я не огорчаю, не мучу, не унижаю тебя».

Таков был батыр. Умирала половина его души, и не жить без нее другой половине... Худо ему. Но он, как волк, не подаст голоса, хоть режь его, хоть жги, хоть убей. Узак сидел немой, замкнутый, окаменевший, лишь глаза сверкали злобой.

Один раз он подошел к Жаменке, в одну, ему ведомую минуту. И Жаменке открыл в эту минуту глаза и посмотрел на Узака в смертной истоме.

- Прощай, старина. Прощай, друг - сказал Узак, отвечая на его взгляд. - Что еще сказать? Душу твою поручаю богу. Я догоню тебя. Не кручинься. Тебе сожалеть не о чем.

И опять обратился в камень.

Каркаринцы всхлипывали. Карибоз читал молитву.

Жаменке становилось все хуже. Уже давно он не говорил ни слова. Уже давно истекли, истаяли его силы. А его все ломало и корчило. На губах выступила синяя пена.

Сокрушительен был смертный недуг. Много раз он ломал старика, останавливая дыхание, и казалось, вот - конец. Колики, судороги мутили рассудок. Печать смерти лежала на бескровном лице. Оно было холодно, как маска. Не узнать старческих добрых и гордых морщин. Белые косматые брови низко напозли на глаза и закрыли их целиком. А когда брови вдруг поднимались и торчком вспоззали на лоб, на краткий миг открывая выцветшие незрячие глаза с расплывшимися белесыми зрачками, в них был безжизненный туман. Глаза медленно закатывались под ветхие веки, как будто с трудом уходили и в ужасе прятались от того, что видели уже за гранью живого. Сморщенные губы, реденькие усы смялись в щепотку, и не

найти, неугадать в них ни былой воли, ни мудрости, ни доброты. На лице словно застыл всплеск той жестокой бури, которая терзала его.

Старик дышал, громко, сердито сопя. И так долго это длилось, что думалось: разве немощно его тело? разве слаб его дух? Его силы хватило бы еще многим надолго.

Наконец он вытянулся и затих.

В круглый дверной глазок не мигая смотрели два светлых глаза...

Остаток дня и всю ночь затем каркаринцы молились и оплакивали своего дорогого покойника.

А утром по такому исключительному случаю пустили к ним с воли одного человека навестить, наспех пособолезновать. Много у тюремных ворот было желающих, пустили одну женщину. Ею оказалась жена Аубакира.

Еще в тюремном коридоре, увидев мужа, она заревела в голос. Едва не заревел и сам Аубакир, увидев жену. Ослаб, размяк, будто ему в живот бросили горячий уголек. Они не успели даже поздороваться.

- Молчи, - сказал он, сдерживаясь, утирая слезу со своей щеки. - Грош цена слезам здесь. Будешь плакать - уйдешь немедля. Зря ты приехала. Из такого далека. Но если уж приехала... Не время много разговаривать. Вчера умер Жаменке. После еды умер. Думаем, накормили его... Больше сказать нечего. Передашь это всем, кто есть тут из наших. Поезжай скорей домой. Иди... Прощай! Тебя и ребенка вверяю одному богу...

Сказав это, он отослал жену, не дав ей говорить. Повернулся и ушел в камеру.

На Каркаре тем временем ловили слухи и слушки и старались угадать, что и где будет. Где начнется... где прорвется... Потому что где-то что-то должно было случиться. Судя по всему, должно! Люди ждали этого с часу на час. А по сути, не знали толком, где и что происходит на самом деле. Жили на отшибе, на отлете и вообще не ведали и не понимали, что творится в мире. После того как восстали красношапочники, а пристав схватил их гонцов, никто не знал достоверно, что же было дальше и куда девались красные

шапки в бескрайней степи. И все же на Каркаре чувствовали: зреет какое-то большое дело, великое дело. Пора ему быть!

Пристав как будто бы взялся за ум и стал не то чтобы хорошим начальником, но немного лучше. Он не высовывал носа с ярмарки. Списков не вышибал. Правда, слишком уж долго он задерживал арестованных. Спрашивается, зачем?

Баймагамбет и Жансеит осмелели. Грозилась, что разгонят ярмарку в любой час и день. Освободят и уведут с почетом своих вожаков - Серикбая и Турлыгожу, а гауптвахту сотрут с лица земли, чтобы впредь некуда было сажать других.

Однако делать это, видимо, не следовало, никак не следовало... Потому что поплатятся за это узники в Караколе. Вся тяжесть ляжет на их головы. Так люди рассуждали... И только это удерживало. Они уверяли себя, что только это.

Правдами и неправдами добывали ружья и револьверы. Раздобыли несколько. И припрятали. Берегли оружие пуще глаза. Хранили его как редкую драгоценность.

По-прежнему лишь единицы знали, как с ним обращаться. На этих людей смотрели как на батыров. Все прочие боялись его и в руки взять, ибо оно... стреляло! Но говорили в один голос: днем и ночью держим его наготове, а коней под седлом...

В эти-то дни волнений и ожиданий пришла скорбная весть. Отмучился праведник, старый Жаменке.

В Караколе были свои люди. В дозволенное время они носили узникам передачи, а надзирателям мзду, чтобы не были они так люты. Когда вернулась из тюрьмы жена Аубакира, эти люди со слезами побежали к начальнику тюрьмы, прося отдать им их почтенного покойника. Начальник тюрьмы сказал, что осведомится у уездного, а осведомившись, наотрез отказал.

Кинулись хлопотать. У кого только не были, кого не уламывали! Обошли всех чиновников в Караколе. Иные и слушали, зевая, бесстыдно скаля зубы. Иные заверяли, что будут хоронить на казенный счет исправно, согласно мусульманскому обряду и обычаю. И при том строго

внушали, что по закону трупы преступников на руки не выдаются.

Люди отчаялись. Стали ходить в овраг близ Каракола... Хотели выкрасть тело Жаменке, если оно там. Но там его не было.

Когда об этом узнали в Каркаре, обезумели. Не так потрясла сама смерть старика, как то, что он не похоронен. Неслыханное надругательство, неслыханная подлость.

Никто никого не звал. Никто не собирал и не вел людей. Они пошли сами, не стовариваясь, не советуясь, но в один и тот же день, в одни и те же часы, со всех летовок, из всех аулов. Пошли толпами и в одиночку, все в одно место - на ярмарку.

С известных пор ярмарка была запретной землей для рода албан. К канцелярии и гауптвахте казахов не подпускали ближе чем на пушечный выстрел, как приказал пристав и предписало высокое уездное начальство. От дозорных застав, доносчиков и лазутчиков пристав знал, что творится

вокруг ярмарки, где, в каком числе и по случаю чего толпятся инородцы.

И тем не менее случилось, казалось бы, невозможное и немислимое. Ровно в полдень давно пустовавшая ярмарочная площадь и все близлежащие улицы и проулки были битком набиты и запружены до крыш черными шапками, конными и пешими, лошадьми, оседланными и в упряжках, быками под ярмом, кобылами и жеребятами, телегами и арбами.

Иглу некуда было воткнуть, не то чтобы шагнуть или повернуться. На телегах стояли. Конные прижались друг к другу стременами, пешие не могли и руки поднять, а подняв, опустить.

А в этих толпах тут и там, вместе и порознь безнадежно потонули и затерялись затертые и зажатые наглухо со всех сторон казаки, солдаты и прочее воинство.

Люди пришли безоружные, кто как есть, кто с чем был, но думали, что вооружены, поскольку джигиты держали в руках дубинки и копья, весь свой арсенал. Пришли не загадывая, придется ли драться или нет, -как бог даст. Пришли потому, что

где-то в Караколе остался непогребенным старик по имени Жаменке, а это бесчестно, грешно и противно естеству.

Канцелярия была осаждена спереди и с боков и походила на маленькую плотину, которая подперла людское море с островками базарных лавок и лабазов. Гауптвахта была тоже обложена вплотную, и часовые притиснуты к засовам и замкам.

Люди стояли молча, угрюмо. В этот полдень ими двигал общий, единый порыв, одна могучая сила. И думали они про себя: а может, уже началось, прорвалось... может, это и есть то, чего все ожидали... то, чему быть пора... Но что же будет дальше? Пойдем к цели или станем еще чего-то ждать? Когда думали о цели, виделось людям нечто высокое, манящее и загадочное, как божество; каково же оно, это божество, - кто знает...

Сивый Загривок метался по канцелярии от окон к дверям, от дверей к окнам, поправляя на себе ремни и портупей.

Созвал он в канцелярию всех, кого можно было, даже казахов-толмачей, которых последнее время избегал и держал

в отдалении, а сегодня обласкал и не отпускал ни на шаг. Как будто они могли помешать черным шапкам оторвать у него башку! Или воспрепятствовать уездному наказать его, хотя, бог свидетель, оно не заслужил-с.

Никто не мог сказать, как все это вышло. В тот самый момент, когда в степи и на базаре стало особенно людно и пристав сказал уряднику: «Как бы того... не прозевать...» - а урядник сказал приставу: «И не заметишь, как это... не доглядишь...» - было уже поздно, лавина обрушилась, и пристав из ловца превратился в улов.

Один следователь рассуждал как философ: чего не бывает в степи. Дичь несусветная, первобытные законы... Однако и он с дрожью прислушивался, не зазвенит ли железо под ударами камня и не раздастся ли перед канцелярией зычный голос Турлыгожи, голос Серикбая. Но чего не было, того не было...

Следователь снял очки, подошел к приставу и повел его на крыльцо.

- Держитесь проще. Побольше жалуйтесь. Пристав упирался, мелко

крестил себе грудь. Вышли на крыльцо.  
Пристав заговорил, едва переводя дух:

- Ну?.. Что скажете? Чего ради понаехали?.. Кто тут у вас за главного? Пусть выйдет, изложит... Мы ждем.

Впереди стояли люди с летовки Донгелексаз, и среди них Баймагамбет, Жансеит, Картбай, злые и ожесточенные. Но главного не нашлось, и передние закричали хором, так что лица у всех стали серыми и вздулись жилы на висках:

- Отдай тело Жаменке!

- Прикажи, чтобы отдали нашего человека...

- Ты его арестовал! Ты посадил в тюрьму! Ты и отдай нашего главного аксакала.

И сквозь эти яростные слитные крики едва пробился одинокий глуховатый голос:

- Выпусти своей волей... наших людей с проклятой гауптвахты!

Пристав и следователь тотчас глубокомысленно закивали, как игрушечные китайские божки, с такими же непроницаемо-фальшивыми лицами. Орут,

конечно, страшно... Мороз по коже... Но жожака нет. И хотят-то, господи, чего они хотят!

- Нар-род! - выговорил Сивый Загривок со вкусом, чуть ли не со слезой. Следовательно что-то шепнул ему, и он добавил: - Дитя прир-роды! - И оба подумали: ни черта, сойдет, казах любит красноречие... - Слушай меня сначала, что я скажу. Кто я есть такой? Я есть самый ближний для вас начальник! А есть дальние, коим я сам слуга... Вон начальник в Караколе и тот выше нас. Скажет: умри - умру. А я ему скажу? Захочет - послушается, не захочет - не послушается. Это правда помер ваш аксакал, э-э... царство ему небесное... Но он в Караколе. Там уездный! Во-он какой чин. Что я могу сделать? Кто скажет?

- Я скажу, - ответил Баймагамбет, как бы вступая в переговоры. - Ты его арестовал, ты отправил под конвоем, ты и выручай. Весь народ плачет, весь народ сердится. А раз говоришь, ты нам самый ближний начальник, пиши бумагу, ставь печать,

гони курьера в Каракол! Пиши все как есть! Нам покажи, как написано...

- Покажу! - вскрикнул пристав по внезапному наитию, а следователь со значением поднял указательный палец. - А если Каракол меня по шапке? Связанный я по рукам, по ногам... Что тогда делать?

- А тогда... тогда шли депешу в Верный! По той штуке, которая сама стучит... Что мы тебя просим и что правильно просим, а ты не против отдать людям покойника. Шли депешу в Верный!

- Депешу! - подхватил Жансеит. - Хватит того, что убили... Теперь сам выручай его.

И опять из толпы понеслись крики:

- Ты это сделал! Ты виноват! Не будешь стараться - будем считать, что ты! Мы тебя знаем, какой ты есть!

И впервые пристав услышал свою бранную кличку и понял ее без толмача:

- Ты, Сивый Загривок, ты! Смотри людям в глаза. Не юли.

Пристав невольно подался назад. Следователь с трудом удержал его, как бы обнимая за плечи, и торопливо подсказал:

- Будь по-вашему...  
так и быть... Пристав  
затрещал, как  
скворец:

- А я и говорю... так и быть... будь по-вашему... Покойника так покойника. Дешу так дешу. В чем ошиблись, в том ошиблись... - И еще раз его осенило: - А вот в чем не согласен, в том не согласен! Если уж посылать дешу, так от имени народа... за всеми подписями... Кто из вас будет подписывать? - И он вдруг завопил в раже: - Желающие... становись! Нежелающие... ас-сади!

Черные шапки снова притихли... Командные окрики смущали. Однако пристав старался, а каждый старается как умеет, как отроду приучен. Он сказал, что ошиблись. Так и сказал. К тому же он советовал как лучше... Но как только оказалось, что лучше идти и что-то подписывать, перед крыльцом канцелярии стало просторней.

Не все ясно слышали, что у крыльца говорилось, даже стоявшие впереди, а позади и вовсе не было слышно. Задние

кричали, когда кричали передние, и ждали, что передние станут делать. Когда же впереди приумолкли, в глубь толпы покатился долгий говор о том, что было сказано у крыльца, а потом оттуда, из глубины, прихлынула, плеснула и растеклась, как прибой, волна голосов. Голоса были незлые.

- Эй вы, слушайте, кто там ведет переговоры... Не все тут понятно.

- А чего тут понимать? Что он, бедный, может? Делает, что ему под силу.

- И то видать, из кожи вон лезет. Вы не давайте ему вылезти, еще, глядишь, пригодится.

- Раз, обещает, пусть делает. Тогда увидим.

- Пусть исполняет сейчас, с ходу, нечего спешиваться.

- Сейчас, сейчас! Скажите там - сейчас! Эй, вы, кто там ведет переговоры...

И так несколько раз накатывали волны тех же голосов. Человеческое море мерно дышало. Люди смаковали слово д е п е ш а .

Баймагамбет и Жансеит, видя, что Сивый Загривок не тот, что прежде, и ждет,

что же ему еще скажут, стояли перед крыльцом, вопросительно и нетерпеливо глядя друг на друга, словно стараясь вспомнить, что же еще хорошо бы сказать приставу...

Следователь уловил их настроение. Эти молодцы были не хитрей девицы, которая жаждет, чтобы ее обняли, но отбивается, как кошка. Понял это и пристав, как ни был испуган, и бодро-деловито прокашлялся.

- Ну, а засим, люди добрые, расходись... езжай по домам с богом... Что толку всем толпиться? И того сверх головы довольно, что останутся желающие... э... расписаться на депеше... Ответа не ждите... ранее двух-трех дней. Ближе не обещаю. Будет ответ, извещу, ждать не заставлю. А пока суд да дело, как вам, так и мне с вами - покой, покой...

Черные шапки закивали, задвигались, заворочались, затолкались, загомонили и стали поворачиваться к канцелярии спиной, медленно, туго и дружно расходясь. Покой - это хорошо, покой - это ладно, как тебе, так и нам...

Тут-то Жансеит спохватился. Подошел к крыльцу и сказал громко, чтобы побольше людей слышало:

- Хочешь быть хорошим начальником, выпусти наших людей с гауптвахты... Они невинные, народ виноват. Серикбай, Турлыгожа ничего сами не выдумали. Вот как перед богом говорю! Сделай хорошее дело, враз с тобой договоримся. А не то все равно на тебе вина. Не очистился ты, Сивый Загривок...

И ближние с жаром подхватили его слова:

- Верно, пора... самое время их отпустить... -Хватит людей томить... намучились... не виноваты...

- Все мы тут виноватые, кто перед тобой... Что с ними делаешь, делай тогда и с нами со всеми!

Но остальные не слышали их горячих голосов. Там стоял топот, глухой треск, тяжкий шорох толкотни. Там потели от тесноты и первейшей заботы - не порвать сбруи, не сломать колеса, не дать себя затоптать. Эти люди как пришли, так и уходили без указки и без спроса, никем не

ведомые. И пристав с трепетом видел, как из людского паводка выбирается и выпрыгивает на спасительный берег один, другой, третий солдат... двое казаков, еще трое, еще пятеро... как они сбегаются под руку к уряднику.

Теперь пристав с отеческим всепрощением, сердечно-ворчливо журил Жансеита:

- Сивый Загривок, говоришь? Ай-яй-яй! А ведь я для тебя аксакал-с! Твой волостной Аубакир и тот со мной на вы-с... Торопишься, братец. Был приказ свыше - ар-рестовать. Будет новый приказ, освободим. Имей терпенье. А коль скоро и вы все виноваты, дай срок, и вас посадим...

Джигиты всполошились, подняли крик:

- А тогда знай, заруби себе на носу: не будет тебе покоя! Будет народ бунтовать!

- Тогда и на нас не обижайся. Ты до тех пор начальник, покуда у нас тихо. А будешь скалиться, и мы огрызнемся. Посмотрим, где у тебя грива, где хвост!

- Нам все равно, Сивый ты Загривок или Пегая Голова... Мы не станем смотреть, какая у тебя масть!

- Вот подождем два-три дня... Ох, если обманешь! Ох, если соврешь!

Но чем более они горячились, чем крикливей грозились, тем спокойней и насмешливей становился Сивый Загривок. Их было много, слишком много... Но за ними была пустота, непроглядная туча пыли от редяющих и разбрёдающих толп.

И джигиты, чувствуя это, стали вскакивать на коней, стали их горячить, заплясали, как бревна в водовороте, и поскакали, затянутые течением, сперва скопом, а потом и врассыпную.

Пристав, горбясь, шаркая ногами, пошел в свою канцелярию, плюхнулся на первый попавшийся стул, бормоча бессмысленные ругательства и тщетно стараясь уразуметь, что же это было, что за страх, что за нелепица.

Поднялась стихийная силища, играючи взламывая и кроша ледяные оковы, затопила ярмарку по горло и ушла в землю, из которой и вышла, как полые воды...

## Глава десятая

Разумеется, пристав послал депешу, как было обещано, в Верный. Послал также бумагу в Каракол. И позаботился о том, чтобы бумагу и депешу показали людям из рода албан. Так советовал следователь. Те посмотрели, уверились, что дело сделано, и убрались восвояси.

Никто из них не умел читать по-русски, как, впрочем, и по-арабски. Знали только, что мусульманское письмо пишется справа налево, а русское, неверное, слева направо. Так оно точно и оказалось.

Следователь поручил Оспану объявить бумагу и депешу своим единокордцам, и тот прочел и перевел их вдумчиво и понятно. Депеша тем и кончилась слово в слово, что господин пристав вместе с народом покорнейше просит отдать тело Жаменке... Ничего подозрительного.

Под низким лбом Сивого Загривка было, однако, темно. После указа царя от 25 июня все казалось ясно и просто - джигитов на тыловые, деньгу в карман, а теперь все пыльно, все туманно, ни покоя, ни барыша.

Не дал господь разумения по части политики, а она, прости господи, бодалась, точно бык при виде красного лоскута. С середины лета так она, подлая, стала оборачиваться, что будто бы и не надо было до поры до времени усмирять бунт. Не следовало его опасаться, наоборот, надлежало подстегнуть. Хотят восстать - пусть восстают. Пусть побунтуют в охотку, чтобы во всем винили самих себя... А потом, как распустятся, развоюются, дать жару! Аулы сровнять с землей без жалости, без пощады, а на хорошей земле посадить своего человека.

Так или не так, но дело к тому клонилось. Судя по тому, как вышло с этим Жаменке, как дразнили, толкали людей на безумство, - похоже. Местные чины по соседству с ярмаркой, тоже не умудренные в политике, на этот раз превзошли самих себя. Глумились жестоко и лили кровь. В иное время иной щелкопер, а то и инспектор сказал бы: произвол! самоуправство! Хотелось приставу осведомиться на этот счет у вышестоящих, поскольку в таком огне рук не погреешь...

Но он благоразумно помалкивал. Вляпаешься, как кур во щи.

Одно Сивый Загривок поощрял - драку мужиков и казаков с инородцами. Эту политику он принимал всем нутром и в ней преуспел. И другое он усвоил легко и прочно. Арестованных берег, кормил. Это заложники, люди ценные. Их судьба была ему наперед известна. В один прекрасный день, между нами говоря, э... до единого... Тут двух мнений быть не могло. Данная мера касалась и казахов, и киргизов, и уйгуров. В этом Сивый Загривок утвердился.

Бунт между тем разгорался. Налеты на почту, на военные обозы, поджоги, убийства... Куда же больше? Похоже, что наступил час расправы. В город Верный из Санкт-Петербурга прибыл жандармский генерал. Прибыл он, конечно, не целовать ручки и не подносить букеты, хотя в Верном задавались и балы...

Казахи тотчас об этом узнали. «Крупная шишка жандарал...» И до киргизских гор, до синьцзянских рубежей, до Тургая и Оренбурга донеслись его слова. Вот как

крылато сказал жандарал, едва прибыл и осушил пиалу кумыса: «Там, где пролилась кровь царского чиновника, трава не должна расти!» Эти слова звучали, как строфа из Корана.

В тюрьме в Караколе было по-прежнему глухо и жутко, как в заброшенном колодце. С воли приходила только еда. К кумалакам больше не прикасались.

В тот день с утра к тюремным воротам близко не подпускали никого из казахов или киргизов. Прогоняли и тех, кто задерживался поодаль в надежде, что пустят. Прогоняли далеко; упиравшихся били прикладами, хлестали нагайками, как скотину не хлещут.

В тот день и в тюрьме было строже обычного. Из соседней камеры изредка доносился упорный тупой стук. Точно дятел прилетал и улетал. Кто-то там забавлялся скуки ради, от нечего делать, как здесь в кумалаки... И больше ни звука... А в дверном глазке то и дело - светлые глаза...

- Что-то нынче у нас не так, - сказал старый Карибоз. - Нехорошо у нас... К чему бы это?

В душе у Карибоза словно бы раскидывали кумалаки. Они ложились то лучше, то хуже, и он не мог вздохнуть полной грудью от неуемного волнения. А долгом старшего было предостеречь.

Но и молодые были не в своей тарелке.

- Что-то делается по всей тюрьме, - сказал Нуке. Всегда знаешь, что происходит в ауле, по лаю собак. А сейчас у меня в ушах собачья свора...

С самого утра все узники-каркаринцы не находили себе места, как будто заражались друг от друга необъяснимой, гнетущей тревогой.

Наконец Узак, лежавший на нарах в углу, на ложе Жаменке, и уже несколько суток не проронивший ни слова, встал и подошел к двери. Дождался, когда откроется глазок, и уткнулся в него носом, словно нюхая, чем там пахнет.

- Эй, чего не выгоняешь на прогулку? И чего наших с воли не пускаешь с едой? Что сегодня за день? Почему такой пост?

Светлые глаза вытаращились, потом прищурились, и в камере услышали:

- Обождешь... В шесть часов будет манифест. Глазок захлопнулся.

- Манапас... - проговорил Узак упавшим голосом, приваливаясь спиной к двери.

Ничего хорошего это не предвещало. О чем мог быть в шесть часов неожиданный манапас? О помиловании заключенных? Узак в это не верил. Об освобождении от реквизиции? А в это не верил никто.

Глядя на Узака, Аубакир похолодел, побелел, в памяти всплыло гаданье в день смерти Жаменке, и он тоже привалился спиной к стене, глухо бормоча:

- Не то он сказал... Что-то за этим кроется... Боюсь, что остается последнее - прощаться. Пусть старики начинают молитву.

Все молчали, замерев на нарах. Узак лег. А Карибоз, набожно сложив руки, тихо начал погребальное заупокойное чтение. Руки его дрожали, и голос дрожал, надламывался, и в лице было больше боязни, чем благолепия. Но он пересилил себя, ладонями стер со своего лица

жителейское, суетное, и потек голос гнусаво-заунывный, чистый, от всяких страстей. И сразу камера обратилась в склеп, а люди лежавшие - словно бы в мертвецов, а сидевшие и стоявшие - в бесплотных призраков. Все были готовы к встрече с вечностью, как будто молитва придала им мужества.

Лишь Аубакир не мог совладеть с собой, хотя сам затеял все это. Рассудок его мутился от животного ощущения нависшей опасности, от ее близости, от ее медленного приближения. Страх дышал ему в лицо, как птице перед сильной бурей, как зверю накануне землетрясения.

За ним знали эту нечеловечью чуткость и потому так верили в его гаданье и предсказанья, а сейчас смотрели с сочувствием, как на женщину, которой трудней в беде, чем мужчине, и которую нечем утешить.

Вдруг Нуке с мягкостью кошки распластался у ног Аубакира, положив ему голову на колени.

- Прикорнем-ка мы к нашему сыночку...  
- сказал он писклявым женским голоском.

Смешное слово всегда мудрей сердитого. Нуке был зятем Аубакира... Аубакир улыбнулся и стал помахивать ладонью у лица Нуке, как бы отгоняя от него мух.

Вышло это совсем по-ребячески у обоих, и хотя в душе ни у кого не было и тени игривой беспечности, простецкая эта шалость оказалась нужна всем, как будто поднимала людей на крылья детской чистоты.

Потом Аубакир прислушался, и стали прислушиваться все.

Издали наплывал неясный слабый шум. Он усиливался.

А через минуту уже вся маленькая каракольская тюремка содрогалась от топота множества сапог, скрипа и хлопанья дверей, лязга засовов и замков и гулких выстрелов, которые туго хлопали и грохотали в тесноте коридоров и камер. Еще через минуту стали слышны и людские голоса, дикие, истошные вопли, крики ужаса и боли, проклятья и стоны.

Узники-каркарицы сбились в кучу, то вытягивая шеи, то пригибаясь от гула

стрельбы, затем рассыпались, прижались к стенам, не спуская глаз с узкой темной двери. Сквозь тонкую щель под ней по ночам обычно проникала нитка света, а теперь сочился струйками синий пороховой дым.

Щелкнул дверной глазок. Показались два светлых глаза и исчезли. С треском распахнулась маленькая дверца, в которую был вделан глазок, и в нее всунулись два гладких вороненых ружейных дула. Они посмотрели не мигая, как светлые глаза, и изрыгнули огонь и дым с оглушительным громом. А потом стали поворачиваться и всматриваться то вправо, то влево, то вниз, туда, где нары, где люди, бегло и часто плюясь короткими пучками дымного огня и незримым длинным свинцом. Смерть вбежала в камеру и стала свирепо кидаться во все стороны и касаться жадно и бессмысленно, как бешеный волк. И вот забились в четырех стенах человечьи крики:

- О предки, о предки... Прощай! Братья, прощайте...

Аубакир видел, как упали Карибоз и Нуке. Оба -наповал... Раненые скорчились и замерли, иные ползли. На одежде, на полу, на стенах кровь.

Уцелевшие бросились под нары, потащили за собой раненых, стараясь укрыться и укрыть их от взгляда вороненых дул. Узак, Аубакир и Сыбанкул втиснулись за печь сбоку от двери. Узак и Аубакир были окровавлены: у старшего пуля в груди, младшему прокололо плечо.

А стрельба не кончалась, она грохотала, превращая камеру в ад. Камера полна клубами дыма, и уже не разглядеть, где нары, где люди. Свет из маленького окна высоко в стене слабо полоскался поверх дыма. Зато пучки ружейного огня вспыхивали ярче.

- О господи! О святой дух!..

- Неужто нам конец?

- Погибнем все. Аллах, аллах...

Аубакир локтем толкнул Узака, тот вскинул голову и кивнул. В тюрьме что-то опять переменялось.

Вдали стрельба утихла, и оттуда все громче и громче доносились уже другие,

новые голоса, яростные, бодрые, зовущие. Там была большая камера. Там были киргизы. Это их голоса.

- Выходи, беги! Скорей...

- Бей их! Ломай, круши все!

- Умри молодой, собака! На тебе, подыхай!

- Не подходи, убью! Я тебя первый...

Тогда Узак выступил из-за печи, подошел к двери, не оберегаясь огня, схватил оба ружья за стволы своими железными пятернями и выдернул их из рук стреляющих, втащил в камеру. Из-за двери донесся беспорядочный топот убегающих.

Узак выглянул в дверцу. По коридору бежали заключенные. Тюремщиков не видно было. Но камера была на железном засове и замке.

- Разбирай нары, ломай дверь, - сказал Узак, прислоняя ружья к стене.

Люди стали вылезать из-под нар, оттаскивать раненых в сторону и отдирать доски.

Узак вырвал из-под нар тяжелые козлы, поднял их над головой и обрушил на дверь. Она загудела, как дубленая бычья шкура.

Узак поднял козлы и ударил еще раз. Дверь затрещала. И в третий раз ударил батыр. Козлы разлетелись на части, а средняя доска двери проломилась как раз над засовом. Узак упал, зажимая рану на груди. Ладонь его залилась кровью.

Тогда Аубакир, словно не чувствуя боли в плече, стал долбить дверь тяжелой толстой доской, упрекая и заклиная всевидящего, но молчащего бога:

- Если одна из трех высших сил язык - заговори. Неужели из восемнадцати человек не выпустишь хоть одного?

И все другие, кто мог стоять на ногах, принялись долбить дверь досками, бревнами из-под козел, прикладами ружей, и она стала ощеряться гвоздями, железными завесками, дощатыми зубьями.

Разломали, отодрали обломки; остался лишь засов на замке. Со звериным воем, с проклятьями и молениями полезли в пролом и побежали, спотыкаясь и падая, поползли на карачках, потащили друг друга по дымящемуся, измазанному кровью тюремному коридору вон, на волю.

В тюрьме стражи уже не было. Когда вырвались из своей камеры киргизы,

окровавленные, недобитые, обманувшие смерть, и повалили толпой, точно мертвецы, вставшие из могил, которых не берет пуля, побежали от них и тюремщики и солдаты, себя не помня. Одни побросали оружие, у других его отняли, и они запрыгали, как козы, чтобы их не подстрелили.

Но в тюремном дворе десятка полтора стражников, сохранивших оружие, собрались у железных ворот, построились в цепь и стали палить упорно по тем, кто выбегал из дверей, лез через тюремный забор и метался по двору, призывая на помощь создателя и святое воинство.

Был вечер, небо заволокли тучи, быстро сгущались сумерки, и они спасли тех, кому это было суждено.

Аубакир и Сыбанкул, поддерживая под руки Узака, истекающего кровью, выбежали в тюремный двор вместе. Бежавший впереди молодой уйгур взобрался на забор и свалился по ту сторону. Они кинулись за ним. Аубакир и Сыбанкул подсадили Узака; Аубакир полез следом и потащил за собой повисшего на

заборе, обессилевшего Узака. И тут хлопнул рядом выстрел. Аубакир услышал, как тихо вскрикнул Сыбанкул.

- А-а... Остался я. Прощайте, - Он медленно сполз с забора и рухнул на булыжник тюремного двора.

Аубакир со стоном подхватил отяжелевшего, хрипящего Узака, взвалил себе на спину и, мыча от боли, поволок прочь от забора, на широкий пустырь, заросший сорняком. Раненое плечо Аубакира занемело, кровоточило, ноги подламывались. Вскоре он сам захрипел и повалился вместе с Узакон на холодную, покрытую росой землю, ничего не видя.

Когда же он обрел способность видеть, уже стемнело и на земле и в небе. Неподалеку за тюремным забором стреляли. Батыр Узак лежал грудью на спине Аубакира, раскинув руки, словно стараясь прикрыть от пуль его и землю. Спина Аубакира была мокра от его крови.

Батыр был жив и в сознании, но не мог двигаться, а Аубакир не мог его нести. Наступила, может быть, самая трудная минута в жизни Аубакира.

Выстрелы стали реже, но отчетливей. Видно, тюремщики вышли за ворота. Может, они шли вдоль забора.

-Иди, - сказал Узак. - Постарайся уйти. Мне нельзя... Я еще обниму того, кто придет меня добить, унесу с собой в могилу.

Он лежал на спине, раскинув руки и ноги, точно воин, сраженный на поле боя, и казался огромным, как сказочный дух.

- Иди... - повторил Узак. - И не засекайся в жизни, как я... Умри за то, чтобы народу жилось. И вот что: против царя ищи друзей русских. Запомни - русских.

Аубакир склонился над Узаком, с мукой вглядываясь в его лицо.

- Я не забуду... Отец, дорогой, прощай, прости... Прости, отец...

- Не жалею ни о чем, - сказал Узак. - Бекей меня ждет.

Аубакир ткнулся лицом в густую липкую лужу на его опавшей груди, встал и, шатаясь, пошел в темноту.

Неподалеку он наткнулся на троих незнакомых. Но по тому, как они схватили

его и увели в глухой проулок, он понял - это свои; двое уйгуров и киргиз. Вчетвером задворками и закоулками они ушли прочь от тюрьмы и укрылись в каком-то заброшенном доме с заколоченными окнами. Здесь Аубакиру перевязали плечо. Рана его была сквозная, чистая.

Они дождались, когда Каракол уснет, и побежали в сторону гор.

Собаки нагнали на них страху. Брехали, как бешеные, на полверсты в округе и гнались за ними неотступно. По счастью, люди на брех не выходили. И еще мешали телеги, уставленные поперек улиц, в несколько рядов, связанные задками и оглоблями, закрепленные на кольях. Это были заграждения на случай набегов с гор дико-каменных киргизов, как их тогда называли.

На окраине Аубакир и его спутники чуть не провалились в глубокую яму, пошли в обход и поняли, что это не яма, а длинный большой ров, свежесвыкопанный. Для конников, западня! Вот как, стало быть, боялись набегов. Такие западни, говорят, предстояло копать джигитам, взятым по реквизиции, против самого

Кермана... Ров был по всем правилам, как на войне, против большой силы.

Аубакир сел передохнуть и горестно задумался. Стало быть, есть тут, под Караколом, такая сила? Почему же она не пришла, не перепрыгнула через ров и щетину телег на крыльях мести и геройства? Почему не вломилась в тюрьму и не вырвала из лап смерти лучших, самых нужных народу, таких, как Узак? Почему не раздавила карателей, палачей на месте их страшного преступления? Почему так тихо в Караколе в эту роковую ночь, когда Узак встречается с Бекей, а собаки брешут на одиноких, чудом спасшихся беглецов? Где она, эта сила?

Молча подошли уйгуры и киргиз, подняли Аубакира и повели, дальше, в степное предгорье...

Аубакир шел и видел перед собой угрюмое лицо Узака с выпуклыми висками. Шел и с содроганьем утирал ладонью усы и губы, с которых еще не стерлась засохшая кровь Узака. Шел и мысленно повторял его последние заветные слова.

В эту ночь, только в эту ночь Аубакир, кажется, понял до конца, с каким сердцем

проводил могучего старца Жаменке, а  
следом и сам уходил из жизни батыр Узак.

Чаша людского горя была полна. Кровавое пролитие в Караколе ее расплескало. Капли крови Узака падали на травы Каркары, воспламеняя ненависть. Как будто мгновенно выгорели доверчивость, благодушные смиренного рода албан. Все бывшие упования вызывали теперь злой смех. Никто больше не верил в мир и спасение. Одна страсть обуяла людей впервые за это бурное лето: воздать извергам-правителям и уйти с этой земли, на которую легло проклятие, уйти в отчаянии, как ушли красношапочники куда глаза глядят.

Судьба красношапочников стала известна в Каркаре. В одну ночь они поднялись и побежали, как дикий зверь бежит от степного пожара, но днем их настигли солдаты. Люди бросали скот, бросали скарб, ускользая ночами, спасая детей и женщин. Что дальше случилось с ними, знала лишь степь и птицы, которые высоко летают.

Говорили глухо, что один конокрад по имени Ибрай и его товарищи, тоже

конокрады, дали клятву отомстить, и, что Ибрай ходил по степи, как ангел смерти, и убивал.

Узнав про это, увидели черные шапки перед собой пропасть и все же говорили: уйдем... Они не знали иных путей. А пока были в родном гнезде, пока не сорваны с корней и не рассеяны, прокляли свое стародавнее смирение, хваленое терпение и выплескивали ненависть, как будто были связаны обетом: все дни, что им осталось, лить кровь, жечь добро, губить живое.

С этим настроением ели хлеб, баюкали детей. Кусок становился поперек горла, пугались дети в колыбелях, но ничего другого албаны не знали и знать не умели. И потому мужчины готовили дубины и топоры, а женщины увязывали узлы, один-два не больше, как будто и не были женщинами.

Всем, что имеешь, пожертвуешь ради жизни, а если нет жизни, зачем тебе все? И скот, и очаг, и земля хороши, когда жив-здоров твой защитник, твой сын, и когда ты хоронишь умерших, а не живых... Так

судили и те, кому выпало отдать джигита, и те, кому некого было отдать.

Были головы, которые думали иначе, не по-людски. Но это были не люди. Это Тунгатар, Даулетбек и им подобные баи и их холопы. Им беспокойно было этим летом, как Тунгатару при встрече с братом Узакон, но они молчали, как молчал почтенный Даулетбек в белой юрте Клубницкого, и таились, как таился Рахимбай в день ареста Узака и Жаменке. Бунт, как джут, - одно для овцы, другое для волка...

Что знал старик, знал и ребенок. Что говорил один, говорили все. Но никто не мог сказать, что же там, на дне той пропасти, в которую их влекло... Есть ли там земля? Есть ли там воля? И есть ли оттуда возврат? Этого никто не ведал. Об этом спрашивали все.

Немногие помнили, какое жестокое слово сказал об этом Узак, - в день, когда пронесся над Каркарой дух великого предка в образе смерча. Главные из тех, кто его слышал, были далеко - одни в узилище, другие в могиле, а малые, рядовые не

смели и вымолвить слово Узака: отцам в кабалу, а детям в рабство... Нынче за это побили бы, оплевали бы как трусов и еретиков. Нынче в памяти был Каракол.

Как и накануне, когда черные шапки обрушились на ярмарку, оплакивая Жаменке, и родила лавина... депешу в город Верный, не было в роде албан человека, который мог бы возглавить его мудростью и красноречием, и вел людей по-прежнему не разум, вело сердце, крик боли из Каракола. Но на этот раз не оплакивали покойных и не страдали оттого, что те не похоронены. И молитв было меньше, и угроз, и благословений, и вообще всяких слов. И черные шапки дивились себе, как дивятся детям, начавшим ходить.

Клич к отмщению слышен был повсюду без слов и речей.

Весть из Каракола пришла днем, а ночью сотни джигитов налетели на мелкие деревни в окрестностях ярмарки, и осветилась степь новым факелом, и на ярмарке увидели красное зарево.

Действовали в эту ночь разрозненно, каждый аул выбирал деревеньку по

соседству, но в уме держали одно: первым долгом прикупить ружей и патронов. Потому что завтра (это знали все без уговора), завтра идти на ярмарку!

До рассвета висело зарево близ аулов Акбеит, Желкар, Танбалы; горели избы, сараи на близлежащих заимках, ревел угоняемый скот. Ни один джигит не был ни убит, ни ранен, только под пятерыми подстрелили коней. Под утро разохотились и напали на Жаланаш. Но это была старая станица, казачья. Тут джигитов ждали давно и не подпустили близко. Жаланаш огрызался залпами, огоньки выстрелов светились, как волчьи глаза, и кони и люди на них не пошли. Неподалеку в лощине в утренних сумерках увидели повозку с припозднившимися путниками. У них были винтовки. Их убили.

И поскакали прочь с криками:  
- Ярмарка, ярмарка! Гауптвахта!

\* \* \*

Настал день большой решимости. Грозный той, начавшийся ночью, приближался к ярмарке. Теперь собрались в кулак, всей людской силой. И тот, кто сегодня сберегал свою шкуру, был чужак. Все, что имелось хорошего в роде албан, готовили для нынешнего дела, нынешнего тоя.

Женщины в аулах не цеплялись за стремяна, старики не читали траурных стихов. Только кормили сытней, а вернувшихся из ночных набегов укладывали на часок поспать. Не было и слез умиления, таких обычных на степном ветру. Все думали о тех, кто был на волоске от гибели в лапах у Сивого Загривка; все с отвращением вспоминали, как хотели, чтобы пристав стал хорошим начальником.

К полудню Кокжота, Зеленый холм к западу от ярмарки, покрылся тучей черных шапок. А позади их было еще больше. Тысячи.

Многие на выезженных жеребцах - самых резвых, гнедых и чалых, рыже-гнедых, сиво-чалых, пегих. Масти играли

на солнце золотистой красниной и белыми пятнами-лаптами.

Холм огибал быстрый чистый ручей, приток Каркаринки. Здесь поили и остужали коней те, кто с ночи не успел побывать дома. Подтягивали подпруги, оглаживая, лаская тонконогих любимых своих друзей, втайне вручая им свою жизнь.

Держались отрядами человек по сто; меж ними непрерывно сновали посыльные. Командиров, кажется, было не меньше, чем посыльных, и оттого не было покоя посыльным.

Вооружены, как обычно, дубинами, копьями и лунообразными топорами-секирами. Топоры сверкали, сияли, как луны, копья торчали, как волосы на богатырской груди. Были еще соилы, незаменимые в рукопашной. Соил для казаха - то же, что сабля для казака, возлюбленная сестра.

Но понятно, что сегодня взяли и ружья, все, что добыли. Винтовок было немного. Большею частью берданки и охотничьи одностволки, двустволки, заряженные дробью и жаканом - на птицу и архара.

Взяли револьверы, их держали за пазухой; из этой штуки далеко не достанешь, камень и тот дальше запустишь, однако она стреляла. А сегодня нужно, чтобы побольше было стрельбы.

Нужно нагнать страху... И уж джигитам, как пробьет час, лететь пулей, чтобы не успели кони испугаться огня. Иначе не подступишься, как к Жаланашу...

Что еще будет нужно - не знали. Но сегодня люди верили в себя и рвались в бой. Хотели посмотреть в глаза косой, как давно обещались.

Среди вожаков нашлись все же такие, которые объезжали все отряды, все воинство. Это Баймагамбет, Жансеит, Кокбай, Картбай. Их можно было принять и за штаб... Что же они делали? Говорили речи.

Долго, пламенно, с воодушевлением говорил дерзкий малый Картбай, зажигая людей. Он к месту вспомнил, как упустили джигиты конвой, увозивший в Каракол Узака, Жаменке, Аубакира...

Однако лучше всех сказал веселый могучий Кокбай, а его слушали потому, что

он последний видел Узака у Меченого Камня и видел Серикбая, за которым его послал Узак.

- Уа, джигиты, пусть поведут нас духи предков, да будет удачным наше дело... Сегодня все тут, все заодно. И стар и млад. Неужели не выдюжим вместе? В самое сердце ударили нас в Караколе. Нет больше мочи, терпеть надругательство, иго воловье, кнут воловий. Пока мы вместе, как жили вместе - умрем вместе! Биться до последнего! Умрет тот, кому суждено. А умирать, так на этой нашей земле, за нашу волю, за нашу честь, как хотел Узак! Кто из нас лучше тех, кто гибнет и гибнет за нас? Кто из нас может так дальше жить? Не будем драться - не видать нам светлого дня. Никогда мы так низко не падали, как вчера, никогда так не возвышались, как сегодня. В добрый путь, братья! -закричал Кокбай и по-старинному воззвал к древним славным казахским родам: - Где вы, уйсуну, албаны, кипчаки, аргыны, керей и канлы?.. Где вы, духи предков Раимбека, Саурука?.. В добрый путь с нами!

И так это было всем понятно, близко и дорого, что тысячи голосов подхватили клич Кокбая. И в ту же минуту словно бы незримый полководец махнул рукой, сказав: вперед. Все тронулись, подняв знамена...

Черные шапки с глухим, низким, будто подземным гулом перевалили через Зеленый холм, развернулись пошире, покрылатей, в одну минуту разогнались и теперь уже с высоким раскатистым грохотом понеслись во весь опор, во всю мощь своих боевых коней вниз, на кучку спичечных коробков, которая называлась ярмаркой.

Стена пыли до гор, до неба поднялась над степью.

Хорошо шли кони, прирожденные скакуны, выкормленные не в конюшнях, а в вольных диких косяках своих отцов, отобранных самой природой, на буйных травах Кар кары! Эти кони любили и от роду знали такой ураганный, звериный, бездорожный гон, как будто наперегонки с волком, когда сам бог-всадник отдается тебе. И хотя они не чувствовали узды, все

же нравно взмахивали головами, чтобы гривы летели, и со злостью клевали мордами, словно грызя себе колени.

Какой, к черту, выстрел или залп услышишь сквозь этот гром, когда земля раскалывается, как в час землетрясения, и кажется, скалы катятся с крутизны, срываясь, как беркуты на взлете, заслоняя и изламывая степной горизонт.

Ее и не слышно было, стрельбы. И не видно было дымков от выстрелов. Ярмарка была нема и словно пуста. Ярмарка не стреляла! А до нее уже с полверсты, не больше.

Так и не услышали джигиты ни одного выстрела. Лишь кони услышали сбоку, правым ухом, ровную, мерную, частую стукотню, похожую на сердитый клетот, и не испугались ее. Но перед лавиной всадников повисли невидимые, остро свистящие нити. Точно ветром подуло... И передние пятеро, десятеро джигитов вдруг полетели на всем скаку через головы кувырком, как игрушечные. А следом еще пять, девять. И еще и еще...

Длинный беспорядочный пятнистый вал лежащих и бьющихся коней и людей вытянулся на зеленых травах в полуверсте от ярмарки. Многие проскакивали эту полосу, с ужасом оглядываясь, а она все расширялась, и поваленных коней и людей все прибавлялось. Долгое горькое конское ржанье...

И еще не осознавая, что это значит, не видя, что за сила валит и валит передних, лава всадников стала круто сворачивать влево от ярмарки, немислимо теснясь, чтобы не затоптать лежащих.

Осаживая коней, посыпались назад и джигиты, проскочившие страшную полосу. И они-то увидели, что лежат неподвижно убитые, а бьются раненые.

\* \* \*

Пристав знал про себя, что у него в голове в одно и то же время умещается лишь одно соображение. А у следователя, канальи, несколько! Этим летом пристав научился слушаться советов, а у следователя их был полон рот.

По этой причине Сивый Загривок загодя, еще до экзекуции в Караколе, сделал три дела.

Прежде всего собрал телеги, брички, возки и арбы, кои имелись на ярмарке, конфисковал их у купечества, собравшегося было в отъезд, как военное имущество и загородил ими проезды и проходы к базару, канцелярии и гауптвахте, связав ремнями и заякорив кольями, в точности как на улицах Каракола. Опоясался двумя рядами. Управился в один день. Запряг в это дело господ и слуг, как фельдмаршал.

Другое дело было двойное. Во-первых, послал он надежных ребят из казахов пригнать отару-другую овец из любого ближнего аула. Это на случай осады ярмарки - кормить. Во-вторых, послал пригнать табун ездовых лошадей пополнить свою конюшню, чтобы было кого впрягать в телеги, брички, возки и арбы. Это на другой случай, если примстится вдруг бежать поспешно. Следовательно именовал это ретирадой.

Третье дело было такое, за которое вполне могли отозвать с должности.

Депешу в Верный, пренаглейшую, сочинял следователь. И в ней просил... просил невозможного! Но из города Верного последовала чисто генеральская милость: необыкновенная, из вороненой стали вещичка в брезентовом чехле, в повозке с сеном, под усиленным конвоем, и казенная бумага о том, что за утрату этой вещички, в том числе в бою, равно как и за порчу ее, в том числе неумышленную, господин пристав подлежит военно-полевому суду.

- Сей же час спрячу, - сказал пристав, с оторопью глядя на генеральский дар.

- Сей же час донесу, - пригрозил следователь, протирая очки.

Но когда на другой день впервые в жизни увидел Сивый Загривок, что творят длинные пулеметные очереди, как кувыркаются конники и отступает конная лава, возвеселился, возликовал, запрыгал за телегами.

- Руби! Коси! Вали! - орал он. - Повернули... Отходят... Бей их в спину, гони... Ах, боже ты мой! Стучишь в час по чайной ложке... тянешь, как псаломщик...

- Грех тебе, барин, ваше благородие, - сквозь зубы выговорил первый номер,

старый казак. И тут же уткнулся лицом в вороненый короб.

Он был убит пулей в голову.

Все, кто торчал за телегами, сели. И военные и невоенные понимали, что это не шальная пуля, а из метких меткая - но откуда же выстрел? Вплоть до дальних лощин, вплоть до обрыва над Каркаринкой была зеленая гладь.

- Это русский... - крестясь, сказал пристав.

\* \* \*

Кокбай скакал впереди всех на своем длинном коне, крича во все горло, когда его конь грохнулся оземь и он сам вылетел из седла вверх, в небо, как душа из тела в смертный час. Очнулся на земле. Тишина, в башке конское ржанье. Спросил бога, берет ли он его. Нет, как будто бы живой. Нашел глазами своего коня - тот уже оскалился навек. Встал кряхтя, раскорячась, как старый дед. Отыскал в пыльной траве свое ружье. Огляделся - лежат, стонут люди, кони. Откуда-то кричал злой голос:

- Иди сюда! Беги сюда! Пригнись...  
Ложись... Кокбай понял, что кричат ему  
и что по нему  
стреляют. Ноги подломились, он свалился.

В стороне Каркаринки серо светились голые камни. Из-за них выглядывал незнакомый джигит с красным, как медь, лицом. Это он кричал. Кокбай пополз к нему на карачках.

За камнями были еще десятеро незнакомых, и Кокбай поразился: все с ружьями!

В башке стихло конское ржанье, Кокбай вдруг снова услышал тяжкий топот и увидел справа от себя изогнутую дугой лаву конников. Она откатывалась, но кони, люди все падали и падали. Лава оставляла за собой широкий пятнистый след конских и людских тел.

- Что это? Отчего это? - завизжал Кокбай, как баба. Краснолицый не отвечал, а другие повернули Кокбая лицом к ярмарке, показывая на свои уши. И тогда Кокбай услышал стук, похожий на клетот.

Все смотрели на краснолицего. Тот лежал за камнем и целился в самый дальний левый угол ярмарки. В руках у него была настоящая винтовка. Целился он долго.

Выстрел! Клекот умолк...

- Ага! - вскрикнули десятеро негромко.

Краснолицый оскалил волчьи зубы и сказал Кокбаю,

показывая на лаву (там перестали валиться конники):

- Поломот называется. Мах сум. Кабы не прыгал за телегами ваш Сивый Загривок, я бы этого Махсума не нашел... Поломот! Тыща пуль за одну минуту. Кермана хорошо бьет.

- Кто ты? - спросил Кокбай.

- Узнаешь... Ходить можешь? Беги низом, Карка-ринкой, к своим. Пусть подберут раненых. Но чтоб на конях, летом. И все врозь, с разных сторон. Каждый подсаживает одного. Понял? Скажешь - будут по ним стрелять, не бойся, мы прикроем. Мы для них тоже поломот... Но чтоб как я говорю! Пока пристав сидит

под телегой... Ступай. - И пригнул Кокбая головой к земле.

Кокбай ящерицей дополз до реки и под высоким берегом побежал к Зеленому холму, отыскал в невообразимой сутолоке Баймагамбета.

Они оба отлично умели исполнять приказы, много лучше, чем их отдавать. Не прошло и четверти часа, как выскочили несколько десятков всадников и редкой цепью понеслись к страшной полосе и стали подхватывать раненых, как велел краснолицый. Брали людей с ходу, с ловкостью и быстротой джигитов-щиков, как козла на козлодрании.

На ярмарке под телегами не сразу смекнули, что там за беготня посреди поля, а смекнув, подняли стрельбу, беглую, раздраженную, но им внезапно ответил такой собранный, прицельный и меткий огонь, что под телегами прижались к земле.

Огонь не давал поднять голову. Огонь был неизвестно откуда.

Кокбай, и Баймагамбет, и другие тоже стреляли - с коня, и на скаку, и с места, и казалось, это они задавили стрелков под телегами. Но казаки, старшие, бывавшие в

деле под Мукденом и Лаояном, искали противника не на коне и не на горке, ибо тут где-то был истинный противник.

- Винтовки, ваше благородие... Окопались, ваше благородие... - В голосах слышалось уважение.

Пристава это взбесило, он заорал, но тут же убрался в ближайший дом, услышав:

- Погон твой, как риза, ваше благородие, далеко видать...

Это его и спасло.

Джигиты унесли раненых без потерь. Их, впрочем, не преследовали.

За щиток пулемета лег новый первый номер, тщательно выцелил серо светящиеся камешки в стороне Каркаринки и нажал гашетку. Пулеметчик трясся и матерился, удерживая прицел, пока не вышла вся лента. Над камнями взлетел вихрь осколков... Но там уже не было людей.

Краснолицый все предвидел и не стал дожидаться - ушел, сам одиннадцатый, цел и невредим, как и пришел.

Пулемет пощупал своими свинцовыми плетями еще обрыв над Каркаринкой, дальние лощины, кустики, бугорки, но не

нашел того, кого искал. Хлестнул он и по Зеленому холму, где виднелись черные шапки, достал одного, другого, но оставил лишь синяки и теплые, остывающие в руке пульки на память. В такой дали огонь терял убойную силу.

Долго искали краснолицего и джигиты и уже думали, что погиб, когда он опять окликнул у реки Кокбая точно из-под земли:

- Чего бродите? Что надо?

- Тебя надо...

- Не ходи ко мне, иди прочь!

Кокбай понял, ушел и подобрался к нему сзади незаметно. Краснолицый и его девятеро оказались на месте, где их и не искали, но отсюда ярмарка была видна до самой канцелярии. Лежали эти люди за мягкой морщиной земли, точно за каменной стеной.

- Ладно, - сказал краснолицый, - Ходить-то можете? Спешиться пора! Поломот конного глотает, пешого жует пополам с землей. Понял? Пусть конные не трогаются с места. До них дело дойдет... Возьми только пеших с ружьями. Обойдешь

с ними ярмарку, встанешь на всех дорогах. Побольше ставь на этой, которая в Жаркент. Но чтобы, я как я ! Не видно, не слышно. И чтобы не бухали в белый свет. Выстрелом его не пугнешь, он не лошадь, - пулей пугай! Надо бы продержать их до вечера. Чтобы и в голову не стукнуло развязывать повозки. А ночью поломот слепой! Вот тогда садись на коня и ломи... Так я говорю?

- Так! Вот это дело! Где ты был раньше?

- Я везде... Я тут...

- Слушай, а хватит у вас зарядов до вечера?

- Свои сосчитай. Мы пулять зря не будем. За нас не беспокойся.

Кокбай почтительно крякнул.

- А вы... а вы и есть настоящий мужчина! Любуюсь вами! В добрый путь...

- Ладно. Хвалить будешь после. Ночью посмотрим... Иди живей. Иди. - И опять с силой пригнул Кокбая головой к земле.

С этой минуты Кокбай забыл про коня и стал ползать со злым удовольствием, чего раньше стеснялся бы, над чем от души посмеялся бы как прирожденный конник,

начавший ездить верхом прежде, чем ходить.

И Баймагамбет, и Картбай, и смешливый Жансеит дивились краснолицему Шайтан!

- Поломот! Конного глотают, пешего жуёт... А? Его слова приняли как приказ.

Со всех отрядов набралось шестьдесят стрелков. Их осадили с коней, развели и расставили скрытно по пятку, по полдюжине со стороны девяти дорог, а больше с той, которая на Жаркент, точно так, как он велел.

И вскоре после полудня на ярмарке почувствовали, что она окружена. Отовсюду стреляли, особенно с севера и запада. Огонь был не сильный, но расчетливый, не на испуг, а по цели. Правда, винтовок почти что не слышно, но и стрелков не видать, а и дробь и жакан тоже не сахар. Теперь повсюду стоял противник - на огневых позициях...

Пулеметчик потерялся. Куда смотреть? Кого подавлять? На ярмарке не было человека, который мог бы назначить ему цель. Рассыпались и солдаты и казаки, ведя

огонь вкруговую, по своему выбору и рассуждению.

Пристав сидел в канцелярии, потому что среди тех немаканных был один такой дьявол, что страсть... А может, он и не один? Он стрелял редко, из разных мест - он искал пристава. Окна в канцелярии были разбиты вдребезги.

Кокбаю хотелось бы найти краснолицего, спросить, доволен ли он. Но что ж его отрывать от дела? Да и не найдешь, пока он не окликнет. Надо думать, что доволен, раз не окликает...

\* \* \*

С ружьями ушли лучшие, самые стойкие, ушли и вожаки. Там, вокруг ярмарки, были десятки, здесь, у Зеленого холма, тысячи. Там воевали и видели врага под телегами, прижатого к земле, огнем. Здесь ждали ночи и видели своих раненых, кричащих, умирающих. Одних увезли в аулы, других страшно было тронуть, нельзя поднять на коня - в каждой кишке у человека по пуле.

Сотни и сотни джигитов говорили о том, что им суждено было пережить в полдень.

- И что же это такое стреляло? Это и есть ихняя пушка? Наверняка она самая, пушка...

- Треклятая, ни на миг не умолкала. Хоть бы чуть-чуть передохнула. Да нет!

- Как треснет, так пуля... Как треснет, так пуля...Как будто ее слабит.

- Молись богу, что спаслись. Как мы все не полегли?

- Один, говорят, красный заткнул ей глотку.

- Какой еще красный? Болтай! Чем ты ее заткнешь?А как она потом жарила, видел?

-А это она по тому красному, по одному... со злости...

- А что же от него, одного-то, осталось?

- Кто его знает... Каша красная...

-А говорили, нету него никакой пушки. Сам слышал: пушку не спрячешь, она - как юрта... Видать, наш пес, хороший начальник, уж постарался для нас, дураков.

- Нет у нас ни у кого даже берданки. На худой случай - голы и сиры перед ним, как

перед богом. Разве его голыми руками возьмешь?

- Да, не похоже, что он дастся нам в руки. Хоть нас сотни, хоть и тысячи - всех перебьет его пушка.

- Говорят, не пушка... Кто выдумал, что пушка?

- И впрямь не она. У пушки одна пуля. Куда бухнет, там яма. А тут что-то другое.

- Что же другое? Как тогда называется эта собака? Знает кто-нибудь?

- Говорят, что поломот...

- Чего, чего? Милый... Такого не бывает!

- А все-таки говорят. Будто бы как он ни страшен, а пешего боится...

- Сказал! Видели мы, как он боится... Ты-то пешего боишься? Порешь что попало.

- А тебе не все равно, как он называется? Хоть бы и не пушка, что из этого? Режет по десятку, по два разом, как коса... Это тебе не яма?

- Да я что... я, как скажут...

Один из отрядов держался особняком от других. Он и в лаве шел последним. Теперь же отмалчивался. Отряд большой.

Это альжаны; они входили в род албан, как и красношапочники, но тех любили, почитали, а эти были не в чести, а стало быть, и в обиде. Красношапочники жили кучно, в богатом урочище Асы, альжаны - разрозненно, в разных волостях, жили бедно и сами себя считали слабыми, хотя было их много и звались они крепкими душами. Поговаривали давно, что вовсе они и не албаны; их чурались.

Худо тому в роду, кто не свой кровный. Недаром из двух толмачей ярмарки Оспана слушали, а Жебирбаева нет - все же подлец Оспан албан, а подлец Жебирбаев не албан...

В свою очередь, и альжаны сторонились черно-шапочников, шли за ними с оглядкой и были себе на уме. «Где черным шапкам сливки, нам сыворотка. Делаем одно дело, а нам пот, им слава. Сделаешь хорошо, скажут - албан; сделаешь похуже - альжан!» Так они говорили, и говорили правду. Так оно и было.

И потому сегодня после полудня, когда Кокбай стал собирать и уводить людей с ружьями, из отряда альжан не спешился ни один человек. Там не было ружей, не было

и желающих идти пешком в засады, как велел некий никому не известный красный, которому, однако, верили как однородцу, а альжанам нет. Позднее, когда стали томиться, ожидая ночи, - все ее ждали, чтобы налететь на ярмарку, а альжаны - чтобы уйти. Может, подались бы они и днем, кабы ведать, что пристав не догонит их из своей пушки. Как выскочишь из-за холма, тут и споткнешься. Пушка, она достает на три версты; от нее не ускачешь.

В споры альжаны не ввязывались. Отворачивались, отходили. Что проку? Тебя же облают. Скажут -альжан! А когда оставались одни, говорили вполголоса, безучастно, безнадежно:

- Бесплезное дело. Лезем на рожон. Не о том надо думать.

- Пусть другие как знают. У них своя голова. Вон их сколько!... А много ли нас? Уйдем, пока целы.

- Верно, уйдем. И не заметят... Что им до нас? Мы для них - сорняк.

- Все равно худо и так и этак. Ну, ушибем этого правителя - всех правителей не ушибешь. Оттого, что воюем, мира не

будет. Ну, скажем, тут победили, а дальше? На ярмарке и всего-то человек сто-двести, а там?

- Попробуй сперва одолей этих...

- То-то что вряд ли. Скорей они нас. Бог знает кто кого.

И так же, как в перепалках альжан задевали черные шапки, принялись они сами задевать за живое токтасынов, которые были в их отряде. Этих бедняков не наберешь и полтора десятка, они не албаны и не альжаны... Вот и клевали их, как гуси уток. Альжаны допытывались, с кем останутся токтасыны. Все же совесть была нечиста, стыдно было.

Тем временем перестрелка вокруг ярмарки ослабела. Обе стороны словно испытали друг друга. Солнце ниже, выстрелы реже. С гор наплывала вечерняя тень.

Кокбай и Жансеит вернулись к Зеленому холму, покрытые солдатским потом, с жадностью напились из ручья, осушив его наполовину, окунули в него горячие головы. Дула их ружей были закопчены, а сердца обожжены первым, желанным и нечаянным воинским успехом.

Их окружили, стали тискать, трясти, как после долгой разлуки. Но странное дело: о чем они расспрашивали? Как будто бы Кокбай и Жансеит ходили пить чай к господину приставу, а за чаем выпытывали, что у него за оружие...

- Что с вами такое? - удивился Кокбай. - Ни один не поздравил... У нас, почитай, на всех чапаны и шапки порваны пулями.

- А что? А как? Из этой самой пушки? - посыпались вопросы.

И тут же все закричали наперебой:

- Я говорил, это что-то зачатое! Как вы живы-то остались?

- Небось они двое одни и остались... Будто мы сами не видели своими глазами?

- Много ты видел, спал тут под кустом задницей кверху!

- А ты где спал? Нашлись тоже учителя божьи на наши головы!

Теперь кричали и альжаны со старой, накипевшей обидой, словно ища в ней оправдание своему неверию, малодушию.

- Сами знаем, может, и не пушка, да одного с ней рода, богом проклятого...

- Во, во! Пушка албан, а это альжан...

- Эх! - сказал Кокбай, трясая над головой ружьем. - Вояки... Жаль, нет здесь того краснолицего... Не видели вы настоящего джигита! Он там... Он один держит Сивого Загривка на свинцовом аркане! Некогда ему с вами чесаться...

Джигиты притихли. Тогда принялся за дело Жансеит. Сегодня он был весел, и язык его остер, как в прежние времена. Казалось, он опять влез в свою шкуру и кололся, как еж. Он в два счета высмеял все страхи и всю дурь и толково объяснил, что такое поломот, зачем спешивались с ружьями и зачем сядут на коня ночью. Кстати обрисовал, как красный побил стекла у пристава и, говорят, очки у следователя...

- Жду нынешней ночи, как после свадебного тоя. Кровь в жилах стоит, ей-богу! Эту вот ярмарку в пепел! Сварим в огне. Я не перекочую отсюда, пока не выпью ее черного супа.

Неожиданное зрелище отвлекло их. Не далеко и не близко, со стороны Ширганака вдоль лощины не быстро и не медленно шел табун лошадей... Не сразу джигиты

сообразили, что табун идет к ярмарке, потому что никто его вроде бы не гнал. А как сообразили, закричали:

- Это же они! Солдаты! Идут по лощине!
- Они гонят, они. Вот они.
- Разграбили Ширганак...

И в самом деле это был наряд пристава, посланный за тяглом. В наряде пятнадцать нижних чинов во главе с самим урядником Плотниковым.

Еще утром он был на ближайшей летовке, где теснилось в удобном месте с десятков аулов. Урядник, старый кавалерист, сам вызвался в этот наряд и лично отобрал в аулах отменно выезженных коней, жеребцов, сытых яловых кобыл - всего голов около ста. Между делом попался ему на глаза, конечно, случайно - такое добро прячут, как ларцы с золотом, - редкостной стати конь; Плотников велел его оседлать. Видно, хозяина не было дома, а то бы как знать... вряд ли взяли бы... За такого коня можно и жизнью рискнуть.

В полдень, услышав пулеметные очереди, Плотников смекнул, где хозяин

коня, и несколько часов отсиживался в горах. Когда же стрельба поутихла, решил он проскользнуть мимо Зеленого холма. И глядишь, проскользнул бы, если бы не пожадничал - бросил табун...

Бросить его пришлось все равно. Наперерез летела сотня джигитов.

Вся надежда была на пулемет. И он заговорил, но больше для острастки. Пулеметчику было не с руки... Оы пытался открыть отсечный огонь, но урядник и его люди сами пошли на огонь, боясь, что их оттеснят в степь. А потом джигиты и солдаты смешались.

Кинулись было на выручку казаки с ярмарки, но недружно, не готовы были... Первых, самых расторопных и шустрых, перемахнувших на конях через телеги, завернули стрелки из засад, люди Баймагамбета и краснолицего, а дальше уже поздно было.

Скоро сделалось дело. На виду у ярмарки, в чистом поле, при свете дня заварилась рукопашная, наконец-то рукопашная, долгожданная. Когда человек,

и конь, и дубина, и земля под ними одно живое целое.

Поначалу было все чин чином, никакого беспорядка. Урядник скомандовал, пошли шашки вон, и его ребята, орелики, лихо привстали на стременах с клинками на вытянутой руке - люди, тоже не лыком шитые, мастера рубки, которых толпой не испугаешь, хоть и сотенной. На них и не шли толпой, чтобы не мешать друг другу, впереди было десятка два... Выбирай!

Но попробуй достать клинком всадника с соилом, если его дурацкая оглобля не подпускает тебя на удар, вертится, мелькает, как мельничные крылья, и лупит, подлая, точно привязанного, по коленкам, по локтям, по башке. Дерется, бес, убегая! Он бежит, а из тебя дух вон.

Кокбай влез в драку первым, вылез последним, без шапки. Ухо, что ли, было у него рассечено?

Прорвался на ярмарку только один бородач с глазами сокола, ранивший пятерых джигитов. Он рубился двумя клинками - с правой и с левой...

И еще удрал урядник.

В самый разгар схватки вдруг закричали: «Матай-улы! Матай-улы», - увидев его известного всем албанам жеребца, рыжего, с белой гривой и с белым хвостом, победителя всех скачек, и аульных и ярмарочных. Однако в седле был не Матай, а Двухбородый!

За ним погналась половина сотни. Жансеит - на лучшем скакуне из табуна толмача Оспана. Шли вплотную, а по краям - заметно впереди урядника, окружая... Но красавец конь привык уходить от соперников; ушел и теперь, играючи, как от пеших.

Все это видели джигиты с Зеленого холма. Видели рукопашную, и у многих чесались руки. Видели, что поломот, который все время бешено стучал, никого не скосил, зря стучал. Застоялись кони, засиделись люди... И когда Жансеит погнался за урядником, не выдержали. Что такое полверсты для конника? Несколько шальных голов бросились вперед, вдогонку. За ними хлынули остальные...

Тщетно кричал не своим голосом Кокбай, скача им навстречу. Они не

понимали его и растоптали бы, если бы он не пошел впереди них...

На ярмарку! На ярмарку! Опять покатила конная лава...

Дорого обошлась эта вылазка, дороже, чем в полдень. Обманул поломот... Человек пятьдесят -шестьдесят остались лежать на лугу в крови, в черной пыли, и среди них Кокбай.

Остальные спешили за холмом - ни живые ни мертвые.

Все было потеряно, все потухло - и порыв, и бесстрашие, и вера. Под вечер Баймагамбет и Картбай вернулись из засад и с ними самые сильные, самые храбрые. Но и их слушали - иные молчком, а иные ропща. Многие плакали - кто по брату, кто по отцу, кто по сыну. Эти уже в бой не пойдут. Глядя на них, жить не хотелось. Были повстанцы, стали плакальщики, смиренные, богобоязненные.

Альжаны нетерпеливо поглядывали на закат, торопили вечернюю зарю. Но когда стемнело, недосчитались не только их, зашевелились все отряды, и на Зеленом

холме осталась, может быть, одна треть из тех тысяч, что были утром.

Сошлись командиры оставшихся отрядов и повели такой разговор:

- Для первого раза не хватит ли? Сыты по горло и люди и кони. Давай лучше завтра утром, пораньше. Тут и пожрать нечего... и поспать негде... И раненых надо увезти. Лучше бы завтра. Всего лучше - завтра!

- А мы что, сюда спать пришли? Зачем мы ждали ночи? - вскипел Жансеит.

Но Баймагамбет и Картбай молчали.

С Жансеитом заспорили вяло, неохотно и, так ни к чему не придя, ни о чем не сговорившись на завтра, препираясь на ходу, стали разъезжаться. Раненых подобрала их близкие.

К тому времени, как должно людям ложиться спать, у Зеленого холма не осталось ни одного казаха.

Ночью, когда вошла луна, прежде других отыскал на лугу Кокбая человек с красным лицом и с винтовкой.

- Ты? Жансеит? - прохрипел Кокбай.

- Эх, брат... Своих не признаешь? А мы с перевала Асы...

Кокбай схватил его за плечи, за голову, притягивая к себе, обнимая.

- Ибрай! - вскрикнул он перед своим последним вздохом.

\* \* \*

На ярмарке крепко перетрухнули в тот день и штатские и военные.

Начать с того, что хватило у повстанцев пороху - палить целый день! По всему судя, оружия много... И стрелки были упорные, настырные, бог знает кем обучены. А какая свирепость, дикость! Даже на пулеметный огонь рвались толпами... Дьяволы, а не люди. Какое там смирное племя! Конечно, у страха глаза велики, но ведь их и вправду тьма...

Господин пристав был на грани истерики. Скрепя сердце, усмирив гордыню, он накинул на плечи какую-то крылатку без всяких знаков различия, ибо погон у него как риза, а канцелярия засыпана стекольными осколками... За ним охотились, как за царем-освободителем

Александром II... И что там ни говорите, стрелок был русский, каторжник, студент! Тут пахло такой политикой, что боже упаси. Не нашего рассуждения-с.

Помимо того, раненых на ярмарке полно, а при них один фельдшер и тот татарин.

Увидев, как чудом унес ноги урядник Плотников, пристав захныкал, просто так сел и захныкал, и денщик подал ему носовой платок. Одним словом - бежать! Дотянуть как-нибудь с грехом пополам до ночи и, так сказать, под покровом... Иных соображений в голове пристава не имелось.

Следовательно бубнил ему в уши что-то свое, кажется, что ночью будет то и се, прошу прощения, атака. Пристав отмахивался от него платочком.

Ничего ночью не было. Все стихло, все замерло. Замерла и ярмарка. Час битый после того, как стемнело, пристав еще ждал и скулил, жалуясь на разврат, поскольку следовательно, почему-то с биноклем в руках, и урядник стояли рядом и не давали ему встать с плетеного, очень жесткого кресла. Никакой атаки, однако, не дождались.

Тогда ярмарка ожила, завозилась, закопошилась, впрочем, нешумно и не зажигая огней. Развязанные телеги, брички, возки и арбы живо разошлись по рукам. Их заложили. Погрузили имущество, железный ящик с бумагами и кое-какими казенными и личными ценностями, устроили в отдельном экипаже при эскорте, точно их превосходительство, пулемет и хорошенько смазали все оси и рессоры, чтобы не скрипели.

Образовался длинный обоз. Потихоньку по бодрящему ночному холодку выбрались на темную дорогу, ведущую в Жаркент, и покатали с богом.

Опустела канцелярия. Опустела и гауптвахта.

\* \* \*

Накануне добрый Оспан ездил, сопровождая следователя, в Саржаз. Следователь прихватил с собой и толмача

Жебирбаева. В Саржазе был убит важный чин - член правительственной комиссии, которая отбирала лошадей для государственных военных нужд. Какой-то безумец разможил ему голову, когда он выходил ночью по малой нужде. Четырехглазый расследовал это дело, но не нашел преступника, а нашел преступников, как он сам сказал.

Нюх у следователя был собачий. Он почуял, что назревает в аулах, и быстренько убрался из Саржаза, свернув допросы и попрощавшись с преступниками как можно любезней.

На обратном пути на одном из пикетов следователь отделался от толмачей под тем предлогом, что им будто бы не хватило перекладных. Смысл был -испытать молодцов, дав им отстать вдвоем без охраны.

Они отстали на сутки, но поехали на ярмарку и были уже по эту сторону Каркаринки в полдень, когда повстанцы пошли с Зеленого холма в первый налет. Толмачи умчались прочь в степь.

Встретились им знакомые, кое о чем рассказали, расспросили. У всех на языке было одно:

- Ярмарке крышка... Поедете туда? Или домой? Оспан и Жебирбаев бормотали себе под нос всякую

несуразицу, сказать им было нечего, а когда знакомые отъехали, погнали коней назад и проскочили на ярмарку прежде, чем джигиты окружили ее засадами.

Сивый Загривок давно уже косо смотрел на толмачей, не подпускал к себе, как ни старались они попасться ему на глаза. Теперь же, увидев Оспана, похлопал его по плечу, потом по щеке.

- Смотри-ка... А я думал, ты сбежал к своим. Ты здесь, оказывается? Ах ты стерва... Смотри-ка!

Вечером, когда стрельба вокруг ярмарки утихла, к Оспану подошел следователь.

- Желательно бы знать из первых рук, что они там затевают. Не исключая, что ждут только ночи... только ночи... Вы поняли меня? Жебирбаев не годится. Ни на кого больше не полагаюсь...

- Я с радостью! Я узнаю, - сказал Оспан.

- Я так и думал. Если они готовятся и хотят напасть, спокойно удалитесь и в течение часа жгите костер слева от холма, подальше, небольшой... У меня бинокль, я ваш огонь увижу. А сами скачите назад лощиной...

Оспан влез на коня и поехал кружным путем, готовясь врать не на жизнь, а на смерть. Но когда он добрался до Зеленого холма, там уже никого не было, а когда опять кружным путем вернулся (под конец ползком, отогнав от себя коня, потому что с луга кто-то его окликнул и погнался за ним), никого не было на ярмарке.

Страшная картина представилась Оспану в лунном свете на базарной площади.

Пристав припас на случай осады отару овец голов в пятьсот. Перед отъездом в Жаркент он распорядился:

- Ну, гнать их некому... и это медленно... Режьте, да порезвей, сколько кому нужно. Всем разрешаю!

И началась бойня. Каждый служащий, торговец, толмач, слуга - все, кроме солдат,

хватали по одной, по две овцы и задирали им морды.

Увезти все с собой в Жаркент, конечно, не смогли. Разделать, сварить - когда же? Так и бросили окровавленные, вываленные в пыли тушки где попало, где пришлось. Их уже рвали вмиг одичавшие ярмарочные псы.

Без дрожи заколет пастух барашка в котел, но и без дрожи своим телом прикроет от волка, согреет в метель и стужу новорожденного, выходит его ослабевшую мать. То, что было сотворено на базарной площади, могли сделать только торгоши да волки.

Даже очерстневшее сердце Оспана вознегодовало.

- Псу под хвост... Пропало все зря.

Но затем потянулось это сердце все-таки в Жаркент. Хотелось Оспану поскорей глянуть на пристава, на следователя подобострастным взглядом, схватить на лету их высокомерный кивок, не замечая, что они его сторонятся, как погани и заразы, будто он не человек, будто он не служащий! Честолюбив был Оспан, отнюдь

не безволен, но этого ему хотелось, как жене, брошенной мужем, - догнать, кинуться в ноги, под пинок и плевков.

И, наверно, небо вняло его молениям. Перед утром въехал на ярмарку какой-то заблудившийся перепуганный купец-татарин. У него язык отнялся от того, что увидел он там, на лугу... Телега купца, однако, была исправна, конь сытый. Оспан без лишних слов подобрал две овечьи тушки посвежей, подсел в телегу и повернул коня на дорогу в Жаркент.

С ярмарки укатили благополучно.

Верст через пять-шесть увидели пообочь дороги трупы людей. Одни лежали в пяти шагах, другие в пятнадцати, как будто пытались бежать перед смертью, одни поврозь, другие по двое, по трое, как будто умирали, обнявшись.

На спине лицом на восток лежал Серикбай. В него стреляли, видимо, в упор, и короткие его волосы на правом виске были опалены. Дырка величиной с медяк зияла на черепе. Запекшаяся кровь почернела. Но на лице ни следа страха и смятения. Брови насуплены. Между

бровями стрелой прочертилась длинная морщина. Это морщина гнева и достоинства. В сжатых губах решимость - суровая, холодная. Во всем лице, еще молодом, не постаревшем после смерти, сила правоты и чистота.

Кто-то покрыл его тело серым чапаном. Чьи-то почтительные добрые руки. Этот человек обещал в час беды раздать свое имущество, но час беды настал, а он мертв; ему нечего больше отдать.

Рядом лежал Турлыгожа, который своим трубным голосом мог свалить быка, друг и соперник Серикбая в мужестве, чести и красноречии. Лежал он лицом вниз, открыв рот, словно хотел поведать родной земле свое последнее, заветное. Наверно, его недобили и он еще долго ворочался, говорил с ней, умирая.

Смерть схватила этих людей безобразная, предательская, как и их братьев в Караколе, но они умирали с верой, что гибнут за народное дело. Дерзкие у них были мечтания... Их красноречие вдохновляло... Жертвами народного клича называли этих людей.

Мимо них, мертвых, без остановки проехал Оспан, и теперь в его сердце не было негодованья, как при виде зарезанных овец. Он ехал в телеге торговца, волочась за теми, кто превратил этих людей в трупы. Это было издевкой над мертвыми. Он марал их тела, как стервятник.

Сейчас он спасал свою шкуру, ибо он предал, и об этом кричали ему убитые, но совесть его молчала, он не раскаивался. Благолепно, молитвенно он огладил ладонями лицо, но лицо его было спокойно, чудовищно спокойно. Ни тени сострадания, скорее любопытство. С интересом он вглядывался в лица, точно в лица спящих. Ага, говорили его кроткие глаза, я еду, а вы лежите, и далеко уеду, пока вы лежите.

Лошадь храпела, и он подстегнул ее вожжами.

Утром на месте каркаринской ярмарки горел грандиозный костер. Ослепительные мечи пламени взлетали к небу, степь застилала драконовы клубы дыма. Горел он долго, жарко, стреляя огромными пылающими головнями, поджигая луга вокруг себя, и к нему нельзя было

подступиться ближе чем на полверсты. Треск и гул сотрясали окрестные горы.

А в аулах уже разбирали юрты, нагружали арбы, навьючивали верблюдов.

Повстанцы были на ярмарочной площади на утренней заре. Впервые за много лет на высоком шесте не колыхался белый флаг с двуглавым орлом. И не было здесь царской власти. Не было его благородия по имени Сивый Загривок, двухбородого урядника и хитрого четырехглазого следователя, не было судьи, надзирателя и жирных толмачей. Канцелярия была пуста. Перед ней валялись не догрызанные собаками бараньи тушки. Но пуста была и гауптвахта.

Купцы уехали, бросив в домах и на улицах много разных вещей, а в лавках и ларях много разных товаров. Домашние вещи валялись как попало, а товары в полном порядке - ткани, платье, сапоги, посуда, сбруя, мазут, керосин, ковры, кольца, бусы, граммофоны... Очень много товаров. Никто из повстанцев на них не смотрел.

Ярмарка была безлюдна. Но в загонах блеяли уцелевшие овцы. А в одном дворе нашли старую подслеповатую клячу. Овец выгнали в степь. Клячу вывели под уздцы за околицу. В торговых рядах залиvistо пела канарейка. Ее выпустили из клетки. И еще походили, посмотрели, чтобы на ярмарке не осталось ничего живого.

А затем подожгли ее с девяти сторон, не взяв ни одной нитки из вещей и товаров. Ярмарка была деревянная, хорошо высушена жгучими степными ветрами, и запылала, как хворост.

Много лет она ненасытно заглатывала и пожирала все вокруг себя и была толстобрюха и спесива, как купец. Теперь она давилась черным вонючим дымом, исчезая с лица земли.

С ней было покончено. Поквитались и с ней... Пожарище еще тлело и курилось пеплом, когда смирный род албан откочевал из благодатной и благословенной Каркары. Тысячи людей потянулись длинными вереницами, подобно перелетным птицам, диким гусям, уходящим от зимы.

Обезлюдели горные пастбища Алатау. В лощинах, укрытых от ветров, остались бесчисленные беспризорные отары овец. И со скалистых и лесных высот испуганно вслушивались в их жалобное блеяние архары, лоси, козули...

Добрая, щедрая, милая земля. С тех пор как албаны стали албанами, она не дала им испытать ни джута зимой, ни засухи летом. И вот она брошена, и казалось, стелется над ней от края до края безутешный сиротский стон.

Позади был белый царь, впереди воля. Люди проклинали все, что было позади, но больше всего этот роковой час, в который уходили. И думали они о том, как вернуться, думали о том, что следом за зимой, пока не затмилось солнце, приходит весна... Лили и лили слезы. Отчаяние погоняло, надежда вела.

Шли в пустыню, во мрак, в неизвестность. Искали воли, а отдавались во власть неизвестности, на ее произвол.

И так же, как от красных шапок отстал бай Даулетбек, поддельный святой, так и от черных шапок отстал и спрятался в горах

Текеса и Сырта бай Тунгатар, темный убийца, - оба богачи, нищие души. Остались с царем и приставом Рахимбай, добрый Оспан и Обиралов.